

The background of the cover is a sepia-toned illustration of a city street. On the left, a tall, multi-story building with many windows and a bay window on the upper floors dominates the view. To the right, a street lamp with three ornate, rounded glass globes stands prominently. In the distance, other buildings and a church spire are visible under a cloudy sky. The overall style is that of a historical sketch or painting.

ЛЕОНГАРД
КОВАЛЁВ

ХРОНИКИ
МИНУВШИХ
ДНЕЙ

РАССКАЗЫ
И ПЬЕСА

Леонгард Ковалев

**Хроники минувших
дней. Рассказы и пьеса**

«Алгоритм»

2014

Ковалев Л.

Хроники минувших дней. Рассказы и пьеса / Л. Ковалев —
«Алгоритм», 2014

Современная проза не всегда полная противоположность классической литературы прошлого. Иногда отличие заключается лишь в том, что нам более понятны мотивы наших современников, их интересы, желания и чаяния. И зачастую именно современная проза лучше всего ответит на вопросы, которые возникают сегодня у читателя. Сборник современного автора Леонгарда Ковалева составляют рассказы и пьеса. В рассказах описаны отношения между людьми в различных, самых простых или же в самых сложных, подчас трагических обстоятельствах. Пьеса представляет жизнь московской семьи в конце советского периода и пятнадцать лет спустя.

© Ковалев Л., 2014

© Алгоритм, 2014

Содержание

Первая память	6
Ледя	10
Первое горе	12
Последний помещик	14
Голос издалека	35
Остановка в пути	38
Хроника минувших дней	43
В солнечной тишине	74
Конец ознакомительного фрагмента.	81

Леонгард Ковалев
Хроники минувших дней. Рассказы и пьеса

© Ковалев Л., 2014

© ООО «Издательство Алгоритм», 2014

Первая память

Галка была мой первый друг. Мы жили в слободе и целые дни проводили вместе на улице, на лугу. Слобода была застроена по одной стороне. От нее начинался луг – через дорогу, с невысокого и пологого спуска. Луг весь был покрыт цветистыми травами. Посреди него протекала речушка шириной в пять шагов. По другую сторону речки, в некотором отдалении, на крутой горе, стояла деревня – крытые соломой белые хатки. На спуске от слободы в долину росли кусты краснотала. Осенью, когда облетали листья и наступали холода, становилась особенно заметной красота гибких ветвей, глянцево-блестящих, цветом от красно-бурого до темно-зеленого. Зимой с этого спуска мы катались на санках, а кто постарше – на лыжах.

В марте, при оттепели, мать ходила со мной на вал, откуда горожане наблюдали кулачные бои, проходившие на заснеженном лугу.

Деревня шла против города и побеждала, так как собирала больше бойцов. После сражения на снегу оставались лежать тела поверженных ратоборцев, силившихся подняться, а иногда не подававших признаков жизни.

В городе не было машин, и только изредка можно было встретить коляску извозчика. По слободе проезжал лишь водовоз. Солнечным утром с улицы доносился его зазывный крик «Кому воды!», и, когда он вынимал из бочки деревянную пробку, в подставленное ведро ударяла, сверкая и брызгая, хрустальная струя.

Тишину безмятежных дней беспокоила Пискуниха. Возвращаясь на костылях после очередных свадьбы или поминок, которые она никогда не пропускала, затягивала она свое неизменное: «Сирота я, сирота...», послушать которое, конечно, стоило.

Останавливаясь посреди улицы, она поправляла на голове платок, обтирала ладонью рот, после этого звучали дерганные всхлипы, потом судорожные «тю-тю-тю...» при попытке набрать побольше воздуха, и уж затем резкое, визгливое, на всю округу: «...никто замуж не берет девушку за это...». «Девушке» было за шестьдесят...

Родители мои дружили с доктором Щуко, с Людмилой Ивановной, его женой. Иногда мы посещали этот дом; мать брала меня с собой, и всегда это было особенное событие, желанное, как праздник.

В образе Людмилы Ивановны, милой женщины с певучим, ласковым голосом, я узнал ту женственность, возле которой невозможны грубость и пошлость. Людмила Ивановна угощала меня пирожными и конфетами и однажды подарила «Русские народные сказки» – большую и толстую книгу с великолепными картинками.

У Людмилы Ивановны я нашел навсегда поразившую воображение обстановку, праздничную, волшебную, невозможную в обыкновенной жизни, и, пока мать и Людмила Ивановна обсуждали свои дела, я погружался в переживание о чудесном этом доме, о тайнах, которые, конечно, скрывались где-то здесь.

Прекрасные картины в дорогих рамах; часы музейного вида, будто из золота, отзванивавшие время мелодическим колокольчиком; кабинетный стол с оскаленными львиными мордами на верхних выдвигаемых ящиках; настольная лампа, бюст какого-нибудь римлянина или грека, письменный прибор, иллюстрированный перекидной календарь; в шкафу множество книг; кожаные диван и кресла; драпировки, обои – все обладало очарованием достатка, довольства, вкуса, долгих прожитых здесь лет уюта и тишины. И тех самых тайн, жгучее присутствие которых ощущалось за каждым раритетом.

В простенках висели фотографии тоже каких-то особенных мужчин и женщин, непохожих на тех, которых приходилось видеть на улице. Были еще: на отдельной подставке граммофон с блестящим раструбом, пианино и подобные деревьям комнатные растения. И среди этих чудес опять-таки какой-то необычной породы, пушистый, черный, с белыми грудкой и

лапками кот – важный, внушительный, сытый, с зелеными глазами, презрительно-равнодушный к гостям, конечно же, причастный, может быть, даже хранивший те тайны.

За окнами, под набегавшим ветром, гнулись и волновались деревья, а в комнату в задумчивой тишине из сада скользили бесшумные отсветы, соединяясь в гармонии с ласковой улыбкой красивой женщины, чьи нежность и доброта жили и сохранялись здесь подобно бесценным сокровищам мира.

«Русские народные сказки» были первой моей настоящей книжкой, по которой я потом выучился читать. Перечитав и пересмотрев ее картинки множество раз, я знал всю ее едва ли не наизусть. Догадывалась ли Людмила Ивановна, какое это было счастье? Догадывалась ли, что я был влюблен в нее, такую красивую, ласковую, тонко благоухавшую своей парфюмерией, заглядывавшую ясными, как небо, глазами, гладившую мне волосы рукой, легкой, словно ангельское крыло? Она сама была частью и лучшим украшением этого дома. Его обстановка, как я понял потом, была далеко не новой, не такой уж роскошной: позолота – стершейся, потускневшей, мебель – состарившейся. Может быть, одна из причин очарования в том и состояла, что она была старой, обжитой, хранившей следы прошедших времен, и, возможно, тогда во мне зародилось желание, чтобы подобная красота была и в моей жизни. И те представления о женщине и женской красоте, которые составились во мне, они образовались не без влияния Людмилы Ивановны – прекрасной женщины с трагической судьбой.

Замечательная эта красота продолжалась и во дворе, и в саду. Они представляли собой маленький рай с беседкой, увитой диким виноградом, с дорожками, посыпанными ярко-желтым песком. От цветка к цветку перепархивал ветерок. Конечно, не помню, да и просто не знаю, что это были за цветы – алые, темно-бордовые, лазоревые, золотистые. Все вместе они производили такое впечатление, что от них невозможно было отвести глаз, хотелось снова и снова возвращаться к ним, смотреть и смотреть на них без конца. Под солнцем, под сияющим небом они околдовывали, как дивная музыка, вызывали изумление, восторг, чувство, оставшееся в душе, как воспоминание обетованной земли. Детей у Людмилы Ивановны не было, может быть, еще и поэтому она была так добра ко мне.

Доктора я видел чаще всего только мельком, в амбулатории, когда бывал там с матерью, иногда дома, в саду, где он увлеченно работал – лопатой, пилой, граблями, – засучив рукава выше локтя, в жилетке и фартуке, в перчатках. Широкоплечий, плотный, с проседью, с аккуратно подстриженными усами и бородкой, добрый, несмотря на строгий голос. Он брал меня за подбородок, заглядывал в глаза, оттягивал веки, внимательно осматривал, трепал легонько по щеке, уверенно говорил матери: «Нормальный ребенок».

Доктора арестовали, видимо, в тридцать седьмом году. Непрактичная, неприспособленная жить в жестоком мире Людмила Ивановна вскоре после этого умерла. Но это было уже потом...

Мой отец был путейским инженером. Рано утром он выезжал на линию, возвращался поздно, часто не ночевал дома.

Утром мать кормила меня, убиралась на кухне и в комнате, после чего надолго уходила в город, на рынок.

Оставаясь взаперти в пустой квартире, я брал свои любимые «Русские народные сказки», забирался с ними в кухню на стол, усаживался на нем прямо с ногами, потому что боялся крыс, которыми пугали меня, и принимался за чтение. Солнце в это время заливало кухню горячими лучами.

Чтением это можно было назвать только условно. Просто все сказки я знал уже на память, но каждый раз проговаривал громко, на всю квартиру, весь текст, водя пальцем по каждой строке, и без конца рассматривал картинки, подолгу вникая в них, представляя в своем воображении волшебный мир, который они открывали мне.

Но ведь и самая интересная сказка не может заменить собой многообразие жизни, всего, чем она заманивает к себе. Тишина, одиночество навевали тоску. Большая синяя муха ползала по стеклу, жужжала и билась об него. В окно гляделись пустой двор и скучный сарай. Ничто там не оживляло души.

Можно было перейти в комнату и оттуда смотреть на улицу, где играли дети, на долину и на деревню. Но в комнате было сумрачно, скучно, не было солнца, а главное, не было стола, на котором можно было спастись от крыс. Стол стоял посреди комнаты, далеко от окна.

Но вот из-за двери, перекрывавшей проход на другую половину дома, слышался голос. Это хозяйские сыновья, Мишка и Колька, большие мальчишки и отчаянные озорники. Отца у них не было, а мать не могла с ними сладить. Часто они доводили ее до того, что она гонялась за ними вокруг дома ни много ни мало с топором в руках. Нервная, несчастная, замученная женщина, бегая за своими неуправляемыми чадами с ругательствами, с растрепанными волосами и с этим топором, была похожа на Бабу-Ягу. Для сынков же все это было очередным развлечением.

Дверь, отделявшая нашу половину от хозяйской, была закрыта на ключ, однако имелось отверстие, через которое братишки подзывали меня к себе.

– Сахару хочешь? – спрашивали они.

Да, сахару я хотел.

– На, – просовывали они через дыру кусочек, предварительно пописав на него.

У меня все же хватало ума отказаться от такого угощения, после чего братья теряли ко мне интерес и быстро исчезали. Я опять забирался на стол, и чтение продолжалось.

Наконец перед моим окном появлялась Галка, которую я уже давно и с нетерпением ждал. У нее пухлые, румяные щеки, черные глаза, черные волосы, челка. В руке большой ломоть белого хлеба, намазанный медом. Она с аппетитом, старательно откусывает от него, набивая полный рот, так что ей тяжело дышать и трудно говорить. Она зовет меня гулять, но как я могу выйти, если дверь заперта? Чтобы выволить меня из заточения, она находит тут же большой ржавый гвоздь, положив свой хлеб на крыльцо, долго и упорно ковыряется им в замочной скважине. За этим занятием ее застаёт мать, вернувшаяся с базара. Галка просит отпустить меня гулять.

У братьев-разбойников был трюк получше того, который они пытались проделать с сахаром. Когда мы с Галкой выходим на улицу, они делают мне новое предложение:

– Закрой глаза, открой рот.

Я выполняю такую просьбу. Почему не уважить, если просят о таком пустяке? И тотчас во рту у меня оказывается яблоко конского навоза. От смеха братишки хватаются за животики, но, увидев, что у меня выступили слезы, успокаивают примирительно, дружелюбно:

– Ладно, не реви, – и дают печенье.

Доедая свой хлеб, пыхтя от этого трудного дела, Галка выказывает мне немногословное, но искреннее сочувствие.

С базара мать приносила что-нибудь интересное: огромную шляпу подсолнуха с крупными семечками, длинную конфету, раскрашенную в синий, красный, желтый цвета; пропеллер на палочке, который на ветру вертится и весело жужжит. Часто покупала какую-нибудь книжечку: «Три поросенка» или про кота и грачей. Кот, разумеется, был разбойник, потому что хотел разграбить грачиное гнездо и съесть птенцов, но мое сочувствие было на его стороне. Мне жалко было котика, которого клевала целая стая черных грачей, и он падал с дерева на землю.

Однажды мать купила мне детские лопатку и ведро. Кроме деревянной ручки лопатки, они были красиво покрашены в черный цвет. Ведро украшали еще и нарисованные на нем цветочки. Новенькие лопатка и ведро имели очень привлекательный вид. Я вышел на улицу со своими игрушками, обдумывая, как их употребить. В это время большой мальчик вел по

улице девочку лет трех-четырёх. Мальчик держал девочку за руку, а она вырывалась, кричала, плакала, была вся в слезах. Мальчик не мог сладить с ней. Она упиралась, не хотела идти. Вдруг она увидела мои ведерко и лопатку. Истерика на минуту прекратилась, но тут же возобновилась, с еще большим криком: девочка требовала себе ведерко и лопатку. Никакие увещания не действовали. Она отказывалась идти. Тогда мальчик попросил мои ведерко и лопатку, и я отдал их. Девочка тут же успокоилась, они ушли, а мать поругала меня за то, что я так глуп.

Время это было интересное. Замечательно прекрасна была природа. С первой зеленью начинали летать во множестве майские жуки. Были у меня еще огромный жук-олень и жук-носорог. Тополя усыпали дорогу сережками, похожими на красивых мохнатых гусениц. Только что раскрывшиеся их листочки были липкими, имели ярко-зеленый цвет и острый запах, щекочущий ноздри.

На Пасху на лугу дети играли крашеными яйцами.

Женщина, которая каждое утро приносила нам из деревни свежее молоко, позвала меня к себе. Мы прошли через луг, прошли по мостику через речку, извилистой тропинкой поднялись на гору. В деревне, на улице и возле дома все было устлано золотистой соломой, бродили куры и очень строгий ярко-пестрый петух. Добрая женщина угостила меня куличом, дала два красивых яичка. Было солнечно, тепло, особенно живописно золотилась разбросанная по земле солома. Но, когда меня повели домой, на горе я споткнулся, упал, яички, которыми хотелось еще поиграть, разбились, конечно, от этого были слезы.

Было много интересного и всякого. Однажды я наелся белены. Я уже терял сознание, пускал пену, но меня как-то откачали. Мать спасла меня, как спасала она не один раз и потом. Мы ходили с нею в кино. В кинотеатре было приятно возбуждающее скопление народа. Там я узнал Чарли Чаплина и там же в кинохронике видел, как нескончаемая вереница людей – старики, дети – с велосипедами и тележками, с каким-то своим скарбом, торопясь, порой бегом, покидали Мадрид, который бомбили фашистские самолеты. Позже, уже во время другой войны, подобные картины пришлось увидеть и здесь, в России.

Галка была настоящим другом. Мы рвали цветы, гонялись за бабочками, собирали на берегу камешки, кидали их в воду, наблюдая, как они булькают и от них расходятся круги. Мы показывали друг другу то, что есть у мальчиков и чего нет у девочек и что есть у девочек, а нет у мальчиков, потому что интересно. А когда нужно было сделать необходимое отправление, мы делали это обязательно вместе, рядом. По берегам росли ивовые кусты. На некоторых листочках были такие, как мы их звали, бубочки, подобные ягодкам с румяным бочком. Взрослые говорили, что их нельзя есть, потому что там живет червяк, но мы все равно ели, потому что вкусно...

Давно нет Людмилы Ивановны, доктора. Многих не стало. Миновали за годами годы. Но помню детское счастье, с которым я приходил в этот дом. Я постоянно думал о том, когда мы снова придем сюда, и чувства нетерпеливого ожидания, с которым я жил и которое может быть сравнимо только с ожиданием любовной встречи, – подобного ему я больше никогда не пережил. На всем пространстве своего прошлого я не нахожу другой такой Людмилы Ивановны, ласковой, доброй, красивой, такого чудесного дома, его обстановки, уюта. И ту колдовскую зачарованность цветочным раем под небом и солнцем, тоже совсем другими – ее я потом уже нигде не нашел...

Вот мы подходим к нему, уже издалека среди волнующихся тополей видна зеленая крыша, душу затопляет чувство...

Нет слов, которые раскрыли бы то состояние. Оно навсегда осталось там... В жизни было совсем немного мест, куда хотелось приходиться снова и снова...

А Галка? Нам было хорошо вместе, вдвоем... Где теперь она – подруга тех дней? Что с нею случилось? Жива ли? И что было бы, если бы мы встретились сейчас, когда прошло столько лет?..

Ледя

Ледя был странный мальчик: делая что-нибудь руками в наших играх, казалось, он в это время думал о чем-то другом. Нам было шесть лет, долгие дни мы проводили вместе.

Улица наша заканчивалась через два дома. В неглубоком овражке, где из родника вытекала ручеек, мы уединялись, придумывая себе какие-то занятия.

По склону оврага росли березы, ивы. Дно его устилали мягкие травы, было много цветов, порхали бабочки, летали пчелы.

Опуская в ручей щепочку, Ледя долго смотрел потом, как она уплывает все дальше и дальше, цепляясь то за один берег, то за другой, удаляясь, наконец, настолько, что ее становилось невидно. Он подолгу наблюдал ползавших и скакавших в траве насекомых, следил проходившие над нами облака. Он был моим кумиром, я подражал ему, делая все то, что хотелось делать ему. Желания же его были очень просты, он никогда ни на чем не настаивал, ничего не требовал.

Пани Ковалик зарабатывала на жизнь шитьем. Она снимала комнату с кухонькой. У нее был еще и больший мальчик, Броня, пропадавший на улице в играх с ребятами того же возраста. Наша мать иногда шила что-то у нее. Откуда она пришла и куда потом подевалась? Это осталось неизвестно.

При нашем появлении у пани Ковалик происходил приступ гостеприимства. Вскидывая от машинки, она бросалась освобождать стул, угол стола, заваленного кусками материи, портновскими принадлежностями. Бледная и худая, у которой и при оживлении не исчезала печать каждодневных забот и пережитых страданий, проявлявшая бестолковую суетливость, как люди, которых жизнь бьет постоянно и жестоко, она притягивала непритворной добротой, хрупкостью слабой и чистой души, печальной красотой лица и глаз. Много лет спустя я понял, что отец Леди был осужден как враг народа.

Мне нравилось бывать в хаотическом беспорядке тесной комнатки, нравились игрушки Леди, книжки и он сам – тихий, серьезный мальчик с большими глазами на бледном лице. Мать оставляла меня поиграть с Ледей. Пани Ковалик говорила что-то восторженно и торопливо, но всегда с грустью в голосе и во взгляде. К матери обращалась по фамилии, непременно присовокупляя слово «пани», мне гладила голову легкой рукой.

После ухода матери пани Ковалик тотчас углублялась в свое шитье до такой степени, что, кажется, от этого зависело не просто благополучие семьи, но и сама их жизнь. Уже не замечая ничего вокруг, строча на машинке или работая иглой, часто пела она одно и то же по-польски. Запомнившийся мотив позволил впоследствии узнать слова и думу, день и ночь, роившиеся в душе бедной женщины: «Помнишь ли ты, как счастье нам улыбалось?..».

Я любил этого мальчика, тонкую его красоту, голубые, никогда не улыбающиеся глаза. Он постоянно, но лишь обиняком показывал, что ему хочется быть со мной, спрашивал, будто думая о чем-то другом, когда я приду еще. В памяти наши нешумные игры у ручья остаются как светлый, никогда не повторившийся сон.

Особенный оттенок в эту дружбу вносили принадлежавшие ему книжки, которые он охотно и щедро давал мне, сам никогда не требовал, чтобы я вернул их. Книжки эти были замечательны их содержанием, картинками, внешним видом и оформлением. В них было что-то общее с ним – Маленький Мук, Дюймовочка, Гадкий Утенок...

Он был одержим идеей, что каждому живому существу, каждой бабочке или божьей коровке может быть больно, потому обращаться с ними надо бережно и лучше не трогать руками. И он мог подолгу наблюдать их, не прикасаясь к ним...

Однажды он спросил, есть ли у меня папа, долго молчал после этого, будто думая что-то, потом сказал:

– Мой папа уехал, но он скоро вернется.

Последний раз я видел Ледю в постели безнадежно больным. Ослабевший, беспомощный, он полусидел, прислонившись спиной к подушке. Перед ним лежала книжка, в которую он не глядел. Из рубашечки выглядывало прозрачное тельце, пронзительно тонкие руки. Под кожей сквозили голубые жилки. Он был строг, молчалив.

– Хочешь, я дам тебе эту книгу? – сказал он вдруг про ту, которая лежала перед ним.

В комнате стоял запах лекарств. Отворачиваясь, пряча лицо, пани Ковалик плакала...

Он умер в разгар листопада...

В белом гробике, поставленном на двух табуретках, лежал странный мальчик – в черном костюмчике, в кипенно-белой рубашечке, с черной бабочкой, со сложенными на груди красивыми маленькими руками. Белое, без единой кровинки лицо было безмятежно спокойно. Красиво причесанные волосы обрамляли гладкий, выпуклый лоб. Он крепко спал. То, как он был одет, и белые кружева смертного ложа напоминали сказки, которые он давал мне читать.

В комнате были опущены шторы, завешены зеркала. В головах покойного горели свечи, между ними стояло небольшое бронзовое распятие. Цветы, их траурный запах усиливали чувство, что это все и уже навсегда. Стоя у гроба в черной кружевной накидке, пани Ковалик срывалась в рыдание. Непохожий на брата Броня, рыжеватый, коротко стриженный, с чем-то, однако, общим в светлых глазах, оцепенело молчал...

Стояла осень. Над березами и тополями цвело счастливое небо. Вечером оно пылало закатом. Ночью в постели я думал о бедном моем товарище и плакал...

Первое горе

Утром в кухне бабушка гремит посудой, у нее много дел. Другие взрослые на работе. Братишка возится со своими игрушками. Костя стоит у стола, глотает слезы, перебирая теперь уже ненужные тетради, учебники, палочки для счета, карандаши.

На улице октябрь. Небо обложили темные тучи, в окна стучится дождь. Ветер срывает с деревьев желтые листья, гонит их по дороге, швыряет в лужи, в грязь. Редкие прохожие, пытаясь укрыться под зонтом, спешат по своим делам.

Еще недавно с таким волнением Костя готовился к этому великому дню – первого сентября. Разглядывал любовно купленные ему учебники, пенал, ручку, перья, как будто золотые – называются номер восемьдесят шесть. И какой это был день! Толпы нарядных детей, цветы, родители, учителя. И так много солнца!

Теперь на улице дождь, все дети в школе, и один только он дома...

Учительница пишет на доске прописи, цифры, учит читать по слогам. Люда внимательно слушает, старательно делает все, что велит учительница. Она пишет чисто, аккуратно и очень красиво. Она хорошо читает. А главное – она сама очень красивая. У нее белое лицо, золотистые волосы заплетены в косички с бантами, платьице, туфельки. А еще у нее голубые глаза, нежный румянец и очень красивый рот. Когда она смеется, становится видно, какие у нее ровные, белые-белые зубы. И у нее красивая фамилия – немецкая, потому что она немка. Но она русская немка и ничем не отличается от других учеников.

Да, он баловался, постоянно что-нибудь придумывал, а все для того, чтобы понравилось ей. И когда она смеялась его дурачествам, ему это было очень приятно. Она веселая хохотушка. Накальывая на перо своей ручки промокашку, он говорил: «Это король». И устраивал целое представление – наверное, интересное, потому что она безудержно хохотала. Все было так замечательно!

Но тут возникала учительница – сердитая старуха в очках. Что она могла понимать?! Зато ругала его, заставляла сидеть тихо, слушать урок. Но ведь Люда – он не мог, чтобы не сделать что-нибудь интересное и веселое для нее...

Наконец, учительница велела ему прийти с матерью. Матери она сказала, что он еще мал и лучше ему посидеть годик дома.

И его исключили из школы.

Но ведь он давно умеет читать, знает все цифры. Просто ему неинтересно, когда говорят про то, что он уже знает. А главное – она, такая красивая, ему так хочется постоянно видеть ее, делать такое, чтобы ей всегда было весело... А теперь он должен сидеть дома, один...

За окном становится все темнее, дождь усиливается. В комнате сумрачно, скучно...

Слезы... слезы...

Он понимает, что уже не увидит ее, может быть, никогда. Взрослые думают, что это глупости, а это правда больно и очень тяжело.

Бабушка приносит большую сладкую грушу:

– Покушай, – говорит она.

Но Костя отодвигает грушу.

– Ты что же, и на меня сердишься? – спрашивает бабушка.

– Потому что все взрослые такие...

Он вспомнил, что дядя Коля прошлым вечером сказал: «Ну и что? Посидит дома – ничего страшного. Школа еще надоест».

– Все?.. – спрашивает добрая бабушка. – Ладно, а вот грушу покушай, станет легче.

Костя все равно отказывается.

Слезы льются сильнее еще и потому, что он любит бабушку, ему не хочется говорить ей такие слова, но они произносятся сами, против воли.

К вечеру слезы высыхают, но чувство остается.

Приходят с работы мать, отец, дедушка, дядя Коля. Костя скрывается от всех в темной спальне. Дядя Коля заходит к нему:

– Идем, будем печатать фотографии, – зовет он Костю.

Костя любит дядю Колю, любит наблюдать, как дядя при свете красного фонаря печатает, проявляет, ретуширует снимки, но теперь отказывается и от этого.

Все-таки он поужинал и, когда лег спать, отвернулся к стенке...

Ночью на улице не было ни дождя, ни ветра. Утро выдалось яркое, солнечное, было даже тепло.

Костя позавтракал, бабушка помогла ему одеться, он вышел в сад. В саду деревья еще не осыпались, но уже приготовились к зиме. Было тихо, пусто, печально. Тяжелые думы не отпускали. Один... Как это тяжело – быть одному...

Если бы кто-нибудь внимательный и добрый в эту минуту мог незаметно подсмотреть, он увидел бы здесь настоящую горе. Сквозь слезы, щурясь на солнце, Костя глядел в небо. Болела душа, горестно страдала она о непоправимом. А жизнь только начиналась...

Последний помещик

*Ты жила в тишине и покое,
По старинке желтели обои,
Мелом низкий белел потолок,
И глядело окно на восток.
Зимним утром, лишь солнце всходило,
У тебя уже весело было:
Свет горячий слепит на полу,
Печка жарко пылает в углу.
Книги в шкапе стояли, в порядке
На конторке лежали тетрадки,
На столе сладко пахли цветы...
«Счастье жалкое!» – думала ты.*

И. Бунин

Жактовский дом, в одной половине которого жили дедушка с бабушкой, дядя Коля и наша семья, был старый, удобный, строенный на старинный лад, с затейливым посередине фасада парадным крыльцом, которым, однако, уже не пользовались. Дом был обшит тесом и выкрашен в желтый цвет. Вторую половину его занимали другие жильцы, у которых были свои двор и все остальное, отдельное от нас.

До революции дом принадлежал тем, от кого не осталось ни следа, ни названия. Кто были они? Куда подевались в те страшные годы? Бог весть. Конечно, были это достаточные люди, имевшие в губернском городе, в удобном месте, такую усадьбу – вместительный дом, сад, огород, широкий двор. Был еще большой рубленый сарай, построенный буквой «Г», короткую часть которого занимали бабушкины подопечные: корова, поросенок, куры. На длинной половине сарая, большой и просторной, с широкими воротами, постоянно раскрытыми настежь, прежние владельцы, должно быть, держали лошадь, выезд, все необходимое для этого. Теперь в этой части хранились дрова, уголь, какие-нибудь старые вещи. Обширный двор между домом, сараем и садом густо зарастал темно зеленовющим спорышом. Возле сарая, по длинной его стороне, справа и слева от ворот росли два больших куста черной смородины, а в конце его, где начинался огород, – деревце вишни. Короткой стороной сарай был обращен к саду, длинной – на входную аллею парка, примыкавшего к усадьбе. Участки от сарая к улице и от дома к саду были заняты огородом.

Перед домом, по его фасаду, был разведен цветник, где особенно выделялись самых разных сортов и вида георгины, росшие сплошной стеной сразу под окнами. Росли здесь также ирисы, пионы, гладиолусы, цветы табака, садовая спаржа, настурции, лилии, петунии, ноготки, астры. От цветника двор несколько понижался и до самого забора густо зарастал простой травой. С улицы его ограждал невысокий штакетник. Здесь были калитка и ворота.

За садом ухаживал дедушка. На попечении бабушки были огород и цветы. Двор и сад вместе с сараем и домом представляли маленькое поместье, островок уединения, отделенный от жизни, протекавшей за его пределами. Дом, как и вся усадьба, молчаливо и кротко хранил в себе приметы и память прошлого – неизвестной, но, наверное, доброй старинной жизни.

Квартира, предоставленная дедушке, тогда еще машинисту, состояла из двух больших комнат, изолированных, однако имевших между собой сообщение, большой кухни с плитой и русской печью и темной спальни, устроенной в широком коридоре, выход из которого на парадное крыльцо был наглухо заколочен. Вход в квартиру был со двора – через крыльцо, сени и кухню.

Большой и просторный сад, состоявший из яблонь и груш, примыкал к парку, при котором имелось футбольное поле, окруженное треком. Сад был слишком велик, и, так как начальство, выделившее дедушке квартиру, считало такой довесок к ней чрезмерной роскошью в социалистическом государстве, имелось постоянное стремление отобрать его, но, что тогда делать с ним, не было ясно, потому он оставался на дедушкином попечении. Он был старей, в момент, когда дедушка получил квартиру, находился в запущенном состоянии, почти не плодоносил. И дедушка, умевший делать все, привел его в такой порядок, что он ожил, стал цвести, давать обильные урожаи.

Дедушка имел небольшое брюшко, лысину, носил темную или белую косоворотку, подпоясанную по-солдатски широким ремнем с простой пряжкой, был крепкий старик. В гражданской войне с оружием в руках дедушка не участвовал ни на чьей стороне, однако как машиниста его мобилизовывали, то есть приходили вооруженные люди и уводили с собой. Кто были они: белые, красные, какие-то еще? Он по полгода пропадал где-то, и семья не чаяла, что вернется домой. Последнее время он уже не был машинистом, но продолжал работать на железной дороге. Испытывая сочинительскую страсть, по вечерам он что-то писал за большим письменным столом. Сохранилась фотография, где он, освещенный настольной лампой в темной комнате, сосредоточен над своим писанием. Он обратился с письмом к Горькому и получил ответ великого писателя, смысл которого состоял в том, что дедушке необходимо повышать образовательный уровень.

Один рассказ дедушки все-таки был напечатан, видимо, в каком-то журнале. В рассказе он вывел «коренастого, кареглазого» машиниста. Во время гражданской войны, зимой, когда поезд остановился на перегоне из-за отсутствия топлива для паровоза, чтобы не замерзнуть, машинист забрался в теплую топку и там уснул. Помощник, не зная о том, закрыл топку на щеколду, замуровав таким образом своего товарища.

За гонораром дедушка ездил в Минск, домой вернулся в крепком подпитии, чего вообще с ним не бывало – спиртного он не употреблял, – и в этом случае, думаю, не много привез от заработанного творческим трудом. А писательская бацилла, которая беспокоит меня всю жизнь, попала ко мне, конечно, от него.

Был дедушка круглым сиротой. Всего, что он имел и чему научился, он добился собственными трудом и упорством, которые были чертой его характера. Он был деятельный, интересующийся, энергичный, кроме того, обладал недюжинной силой, был решительный и неробкого десятка.

Во время гражданской войны местность, где они тогда жили, занимали белогвардейские части. И так как дедушка с семьей имел, видимо, достаточную квартиру, на постой к ним были определены офицеры. Однажды они играли в карты, и один из них проигрался в пух. Тогда, чтобы продолжить игру и сделать очередную ставку, проигравший ничтоже сумняшеся достал из гардероба дедушкин выходной и, может быть, единственный, костюм. Недолго думая, дедушка взял офицера за грудки и как следует потрянул. Произошел переполох. Дедушку объявили «красной сволочью», тут же скрутили, выволокли во двор, поставили к стенке. Жить ему оставалась одна минута. Тогда, собрав пятерых своих детей, бабушка бросилась в ноги начальнику, и дедушка был помилован.

Слабостью дедушки, выдававшей возраст, было то, что после обеда, взявши в руки газету, он тут же над ней засыпал. Он участвовал в клубной самодеятельности и однажды провел меня и Эмму на постановку украинского спектакля «Наталка-Полтавка», где он исполнял роль свата. Загримированный, в рыжем парике, изображавший состояние своего героя во хмелю, он был совершенно неузнаваем и здорово сыграл свою роль. На сцене был поставлен домик, куда для переговоров зашли сваты, их было двое, и так как они были в хорошем градусе, там поднялся настоящий гвалт. Домик трясло, как при землетрясении, и было просто чудо, что он не развалился. Спектакль был поставлен для красноармейцев, заполнивших зал в длинных шинелях

и островерхих шлемах того времени. Других зрителей не было. Мы с Эммой, как почетные гости, сидели в первом ряду.

Бабушка имела свой круг интересов и занятий. На ее попечении находились: корова Сондра, поросенок Юзик, несколько кур с петухом, а также белый с желтинкой пес Томик и кот Минька. Дела у бабушки не кончались никогда. Только вечером она позволяла себе отдохнуть, читая у остывающего самовара старый, с пожелтевшими страницами журнал. В этом журнале, из которого она читала и мне, рассказывалось о поисках затонувших сокровищ и погибших искателях. Там была и страшная картинка: скелет в остатках одежды и крабы с огромными клешнями, которые, видимо, съели того, от кого остался лишь скелет.

В огороде у бабушки рос всякий овощ. Росли там и тыквы, из которых бабушка варила вкусную кашу. Главное же употребление тыквы было в корм корове и поросенку. Тыквенные семечки бабушка поджаривала на противне. Вечерами, когда приходили тетя Варя и дядя Гена с Эммой, семечками лакомились за долгими разговорами на этих посиделках.

У бабушки было простое лицо, всегда спокойное и серьезное. Была она помещицкого рода, скорее всего небогатого, так как не отличалась большой грамотностью и замуж вышла за пролетария, хотя дедушка был квалифицированным рабочим. О помещицьем происхождении бабушки осталось лишь одно свидетельство матери, которая в возрасте семи или восьми лет, видимо перед самой революцией, была в гостях у своих дедушки и бабушки и видела там висевший на стене «План земельных угодий помещика такого-то». Кто он был, этот мой предок? Был ли он дворянин? Этого я уже не узнаю. Бабушка ничем не отличалась от старых женщин из народа, одета была всегда в простые, темные одежды, соответствовавшие возрасту и положению – других у нее просто не было. В кухне, в сарае, во дворе она была в фартуке, в платочке, повязанном на затылке. Она любила своих родных, свое хозяйство – огород, скотину, – старательно готовила корм корове и поросенку, в больших чугунах варила для них картошку в кожуре, тщательно разминала ее потом толкушкой и руками, подмешивала рубленую траву, посыпала отрубями, добавляла к этому остатки еды со стола. Можно сказать, что корова и поросенок имели отличное питание, потому и продукты, получаемые от них, были наилучшего качества.

Во время прошедших войн, в годы разрухи и голода, бабушка подбирала на улице несчастных людей, больных и вшивых, приводила домой, кормила, обстирывала, лечила, давала кров, несмотря на то что имела пятерых детей и не бог весть какие достатки. Однажды, во время гражданской войны, она спустилась в погреб, где у нее оставалась кое-какая огородина, и неожиданно столкнулась там с грабителем, здоровенным солдатом, который при виде хозяйки бросился наутек. Оправившись от испуга, бабушка сообразила, что солдат голоден. Кинувшись за ним, она остановила его, привела домой, накормила чем бог послал, сделала другое, в чем он нуждался. Часто за это ей платили черной неблагодарностью. В те же годы был случай, когда неожиданно ночью, у себя в комнате, в темноте, бабушка столкнулась с грабителем. Это так потрясло ее, что она слегла и долгое время находилась на грани жизни и смерти, и уже не думали, что останется в живых.

Особые отношения были у бабушки с разбойником Минькой, упитанным серо-белым котом, не упускавшим случая изловить мышку или воробья, постоянно вертевшимся возле нее, когда она готовила обед. Улучив минуту, Минька вспрыгивал на стол, хватал кусок мяса и бросался прочь от разгневанной бабушки. Несколько дней потом его нигде не было видно. Наконец он возникал в открытом люке чердака и начинал орать, вымаливая прощение. Бабушка не обращала на это внимания, занимаясь своими чугунами и ухватами. Минька спускался на одну перекладину лестницы, продолжая истошно вопить, стараясь показать этим, как он несчастен и как страдает. Бабушка по-прежнему не замечала его. Он спускался еще на одну перекладину и, когда добирался до последней, улавливал, что наказания не будет, бросался к ногам бабушки, начинал тереться об них, задравши хвост, громко мурлыкать, убеждая, что произошедшее –

просто досадная случайность, что на самом деле он совсем не такой, как можно было подумать, и больше такого никогда не будет. Бабушка все понимала, но не могла не простить хитреца. В знак прощения он получал вкусный кусочек. Съев угощение, облизавшись старательно, Минька возвращался к обычному своему состоянию уверенности и полного довольства собой. Однако преодолеть или смирить воровскую склонность Минька не мог, и в следующий раз все в точности повторялось.

Мать много читала, была занимательной рассказчицей и часто, чаще всего перед сном, когда я уже лежал в постели, рассказывала мне что-нибудь из прочитанного, содержание интересного кинофильма, а иногда и читала вслух, в том числе стихи любимого ею Некрасова. Я с нетерпением ожидал ее прихода с работы или возвращения из кино. К Новому году она покупала разноцветной бумаги, блески, доставала сбереженную фольгу от шоколадных конфет, вату, заваривала крахмальный клейстер, и несколько вечеров мы предавались интереснейшему занятию: изготовлению елочных украшений. Клеили цепи, флажки, делали фигурки из ваты, разное другое.

Как-то, накануне Нового Года, придя вечером с работы, мать позвала меня ехать в город покупать елочные игрушки. Ехали от вокзальной площади промерзлым автобусом в центр, где были лучшие магазины. Вечер был морозный, звездный. В стывшем воздухе ярко сверкали уличные фонари, мягко светились окна многоэтажных домов, все было бело, под ногами звонко скрипел снег.

На площади стояла огромная елка, украшенная игрушками и фонариками. Возле елки на снегу ее окружали: Дед Мороз и Снегурочка, Волк и Три поросенка, Красная Шапочка, Доктор Айболит. В магазине тоже все сияло разноцветными огоньками. Улыбающаяся продавщица сделала большой кулек из плотной бумаги, и нам наполнили его чудесными игрушками, сверкающими золотом, серебром и всеми возможными цветами. Дома потом все игрушки разложили, внимательно рассмотрели, и теперь оставалось ждать, когда придет елка и мы будем ее украшать.

Мы часто бывали у Эммы, в поселке Карабановка, расположенном по другую сторону станции, в домике с парадным крылечком. Почему-то простая его обстановка, обычные вещи пленяли, вызвали желание оставаться среди них, приходиться сюда снова и снова. Стол, стулья, диван, комнатные растения были, конечно, самыми обыкновенными. Комод украшали фарфоровые фигурки, высокая, тонкая ваза с метелками засушенных луговых трав, куклы, красивая морская раковина, из которой, если приложить ее к уху, можно было услышать шум далекого моря. Вряд ли все это было каким-то особенным, но здесь я казался себе в мире почти волшебном.

Эмма имела богатый набор цветных карандашей, альбомы, книжечки и блокнотики для рисования, куклы, набор кукольной посуды и мебели, уголок, где они были красиво расставлены и бережно хранились, но, главное, у нее были любимые мной книжки. Нет нужды говорить о платьях, туфельках, ботинках, в которых она сама становилась похожей на куколку.

К дому примыкал огород, между грядками которого росли фруктовые деревья, кусты крыжовника и смородины. За домом, возле разведенного цветника, мы расстилали на травке рядно, читали здесь книжки или говорили такое, о чем говорят дети, когда им столько же лет. Вся Карабановка, застроенная такими же домиками, казалось, грезилась летними днями под солнцем и ветром, тихим и радостным, утопая в зелени садов и пестроцветье палисадников.

Мой отец был неплохой рисовальщик, художник-копиист. В то время он выполнял на заказ две картины. Первая из них, большого формата, скопированная с открытки, представляла двух борзых и перед ними на белом снегу затравленную ярко-рыжую лису. Другая была копией газетного снимка, запечатлевшего лейтенанта Пожарского, готовившегося совершить прославивший его подвиг в бою с японцами. Копировал он и другое, для себя: Маковского – девочки, бегущие от грозы; олени, пришедшие зимой к стогу сена. Стоя в углу комнаты –

ближе мне не разрешалось подходить, – как замороженный, боясь пошевелиться или издать звук, я наблюдал колдовство рождения ярких образов на полотне. Мне хотелось самому творить это чудо, но все, что было доступно мне, – это рисовать простым или несколькими цветными карандашами на куске серой оберточной бумаги, которую приносила для меня бабушка из какого-нибудь магазина.

Через дыру в заборе я проник в парк, где в это время для детей разыгрывались призы. На бечевке, протянутой между двумя березами, были развешены карандаши, ученические ручки, блокноты, разная другая мелочь, в том числе акварельные краски в виде пуговиц, наклеенных на картонное подобие палитры. Чего бы я ни дал, чтобы эти краски стали моими! Перед бечевкой выстроилась очередь, во главе которой стали большие мальчишки, за ними хвост из таких же, как я, мальцов. Тому, чья была очередь, завязывали глаза, давали в руки ножницы, он подходил к бечевке и пытался срезать что-нибудь, но чаще всего это не удавалось. Тогда большие мальчишки, которым надоела такая канитель, ринулись к бечевке все сразу и стали срывать призы. Произошла свалка. Младшие последовали за старшими. Распорядительница растерялась, не умея навести порядок, стала быстро сворачивать свой аттракцион. Поняв, что вожделенных красок мне не получить, я устремился вслед за всеми и, изловчившись, сорвал-таки их с бечевки. Наконец я заполучил настоящие краски! О том, что способ, которым были добыты они, был не совсем приличным, я, конечно, не думал.

Дома я срезал с головы клочок волос, сделал из них кисточку, но, когда стал рисовать, стараясь взять на кисточку как можно больше сочной краски, и увидел, что, высыхая, цвет делался жухлым и тусклым, был разочарован.

Вечерами приходила Эмма с родителями. Тетя Варя была домохозяйка, дядя Гена, как и дедушка, – машинист. Высокий, заметно лысеющий, добрый и сильный, он здорово подбрасывал нас к потолку – сначала Эмму, потом меня. Мы просили: еще и еще! Взрослые были недовольны: это было развлечением для нас, а не для дяди Гены, который, конечно, никогда не отказывал нам.

В то время как взрослые беседовали на кухне, мы уединялись в комнате дяди Коли, которого чаще всего в это время не было дома, и там, расположившись на участке стола, свободном от дядиных принадлежностей, занимались рисованием. В хорошеньком чемоданчике Эмма приносила с собой все необходимое для этого: альбом, цветные карандаши, другие принадлежности. Лампа под зеленым абажуром освещала стол, где мы располагались, погружая остальную комнату в полумрак. У Эммы все было нарисовано аккуратно, правильно: девочки, цветочки, домики, деревья. Я рисовал самолеты, танки, военные действия.

К концу вечера бабушка ставила самовар, разговоры продолжались, все пили чай с вишневым или крыжовенным вареньем.

Нам с Эммой, конечно, было интересно послушать, о чем говорят взрослые. Часто это были поражающие и даже пугающие рассказы. Вот, будто мужчина в театре среди публики увидел на женщине платье, в котором он только что похоронил свою жену. Или слух о том, что парикмахер (видимо, враг народа) перерезал бритвой горло клиенту. Или случай, когда после грозы над землей повис электрический провод. Кто-то хотел перешагнуть через него и замкнулся на нем. Другой, поспешив на помощь, схватил этого человека, чтобы оторвать от провода, но сам замкнулся. Потом в этой цепи оказался третий, четвертый, пятый... Наконец, кто-то догадался галошей выбить провод из рук первого, взявшегося за него...

Обсуждали крушение на железной дороге, рассказывали про знакомого железнодорожника, который попал под поезд. Или о летчиках, когда они выбросились с парашютами из загоревшегося во время учений самолета, и у одного из них парашют не раскрылся.

Или вот еще – мальчишки. Чего только с ними не происходило! В нашем парке, в березовой роще, селились вороны. В то время некоторые мальчишки собирали коллекцию птичьих яиц. Один из таких коллекционеров решил добыть вороньих яиц. Вороньи гнезда рас-

полагались на большой высоте, и незадачливый охотник за яйцами сорвался оттуда. Шансов у него не было – он погиб на месте... Другой «везунчик» из числа наших знакомых попал под автомобиль. Это было просто невероятно. Автомобилей на улице в то время было раз-два и обчелся. Как его угораздило?.. Колесо проехало по тому месту, где у человека находится мочевого пузырь. К несчастью, в этот момент он был переполнен и лопнул... Еще один иска-тель приключений забрался в бочку из-под бензина, оставленную без присмотра. Находясь в бочке, любознательный естествоиспытатель зажег спичку. Произошли вспышка и взрыв. Сча-стьем было то, что остаточное количество бензина и пары при вспышке мгновенно выгорели. Герой остался жив, но долго ходил с головой и лицом, залепленными марлей. Оставлены были только щелочки для глаз, которые чудесным образом не пострадали... По нашей улице, неда-леко от нашего дома, по другую сторону парка, находился одноэтажный восьмиквартирный дом, в котором жили знакомые железнодорожники. При доме был большой общий сарай, во дворе было много детей. Компания друзей, четверо или пять мальцов, старшему из которых было не более семи лет, ни много ни мало решили поджечь сарай. На задней стороне сарая прямо к стене сложили каких-то веток, щепок, газету, подожгли. Кусок газеты сторел, и пламя потухло. Что в таком случае делают взрослые? Правильно! Материал, который не хочет возго-раться, поливают бензином. Где взять бензин? Да проще простого! Достать пипку и побрыз-гать, что и сделали всей компанией. Горючим веществом обработали весь материал, даже стену сарая, но они почему-то не воспламенились. А в это время за сарай заглянул кто-то из взрос-лых.

Говорили еще о разных домашних делах. Говорили и такое, что нам, детям, нельзя было знать. Тогда разговор шел с намеками, с употреблением непонятных слов. Но мы-то знали, что если говорили о ком-то, что его отправили на луну, это значило, что его расстреляли. Когда говорили про другого человека, что его отправили в Крым, это означало, что его отправили в какое-то особенное место.

Так много интересного, о чем говорят взрослые, мы слушаем, стараясь не пропустить ни одного слова. Но главное в этих беседах – спокойная и добрая сердечность течения вечерних часов, она передается и нам, и мы хотим, чтобы вечер длился как можно дольше.

Но вот заканчивалось чаепитие, заканчивались разговоры, заканчивался и вечер.

В поздний час мы провожали гостей через площадь, мимо вокзала, к переходному мосту. Небо в это время усыпано яркими звездами, в парке сверкали огни, играл духовой оркестр, гулянье было в разгаре. И всякий раз было жалко, что вечер прошел и надо расставаться.

Дядя Коля, брат матери, работал мастером на машиностроительном заводе. Он имел гриву золотисто-рыжих волос и наклонность к саркастической шутке. Как и дедушка, владея талантом делать все своими руками, паял, точил, клеил, пилил, немного рисовал, фотографиро-вал, ретушировал снимки, собрал радиоприемник. Для этого у него были все необходимые принадлежности, различные инструменты и приспособления. Был у него также и велосипед, на котором он ездил на работу и много с ним возился, что-то в нем ремонтируя, усовершенствуя. Комната его была настоящей мастерской. Два больших письменных стола, придвинутых возле окна один к другому, образовывали обширную поверхность, заставленную разного рода дета-лями, железками, приспособлениями, препаратами, реагентами. Как-то, войдя к нему, я уви-дел среди прочих предметов коробочку с насыпанным в нее горкой белым порошком. Поду-мав, что это, может быть, что-нибудь сладкое, я лизнул порошок: оказалась противная гадость. Вошедший как раз в эту минуту дядя Коля, заметив, что я сделал, спросил насмешливо: «Что, вкусно?». Он был шутник и насмешник.

Обстановку комнаты дяди Коли составляли: никелированная кровать с шишечками, оби-тый голубым дерматином диван с валиками, платяной шкаф. Низкая лежанка, облицованная белым кафелем, была слишком жаркой, потому на ней лежали только во время болезни, если нужно было согреться.

У дяди Коли можно было увидеть диковинные вещи, например электрическую лампочку величиной с большую тыкву. Однажды ему доставили целую гору хоккейных коньков с ботинками, видимо, это был заказ наточить их.

Радиоприемник, собранный им, звучал сквозь волшебное потрескивание таинственными голосами далеких миров, музыкой, прорывавшейся оттуда волнами, вызывая фантазии о неведомых странах, о чудесном, недостижимом, волнуящем смутными мечтами. Слушать это доставляло ни с чем не сравнимое переживание. Я весь растворялся в этих звуках, переносясь в пределы, откуда приходили они. Казалось, они так далеко, как звезды на небе, и оттого навсегда пребудут недостижимой и недоступной тайной, и никогда не придется узнать о том непостижимом, далеком. Душа наполнялась страстным желанием узнать, увидеть, которое оставалось без исхода и без ответа.

Однажды, когда я был прикован к постели в гипсовой своей коробке, дядя Коля, придя с работы, с порога нашей комнаты бросил мне огромный душистый ярко-оранжевый апельсин. Апельсин был из Испании, где в это время шла гражданская война. Кажется, он был первый в моей жизни. Я долго играл с ним, прежде чем съесть его.

Дядя Коля был еще и шалун. Как-то на Пасху он выкрасил Миньке в красный цвет мужские его принадлежности, которые называл «ириниты» и которыми Минька потом красовался, разгуливая с задранной хвостом.

Был случай, когда дядя Коля предотвратил большое несчастье, уготованное кем-то для нас. Домой он приходил поздно, часто засиживался у себя за полночь и однажды, выйдя в такое время во двор, увидел, что под стеной дома со стороны огорода возгорается пламя. Кто-то сложил там сухих веток, прочего горючего материала и сделал поджог. Пламя только что начинало разгораться, и дядя быстро загасил его.

Дядя Коля много фотографировал, проявлял, печатал снимки при свете красного фонаря, ретушировал, используя специальное приспособление, разрешал мне наблюдать за его работой. Кое-что из этих снимков сохранилось. Они напоминают о том, что было и так давно прошло.

В те годы в городах, даже больших, особенно по окраинам, люди держали домашнее хозяйство, подобное тому, какое было у бабушки, и в котором обязательно была корова. И, так как коров надо было пасти, ближайшие соседи собирали стадо и нанимали пастуха, которого по очереди каждый из общинников брал к себе на неделю на полный стол и ночлег. Бабушка участвовала в общине, и таким пастухом одно лето был Василь – деревенский парнишка с выгоревшими на солнце соломенными волосами, – серьезный, самостоятельный, знавший и умевший много такого, чего не умели те, кто жили в городе. Он покорила меня дружеским отношением, хотя был намного старше, тем еще, что умел делать ореховые тросточки с красивым черно-белым орнаментом, а также дудки, свистки и однажды сделал самопал, из которого подстрелил ворону. Он имел длинный бич, с помощью которого управлял стадом, ловко щелкал им, давал попробовать и мне, но у меня не получалось: не хватало сил. Спал Василь в кухне на бабушкином сундуке, вставал на рассвете. Бабушка кормила его завтраком, собирала для него в холщовую торбу еду, и он на целый день уходил со стадом. Вечером, пригнав стадо, ужинал, и остальное время мы проводили вместе. В воскресенье, в свой выходной, который ему полагался, он что-нибудь мастерил для меня – конечно, сделал свисток и тросточку, человечка-физкультурника, а когда приходила Эмма, тоже участвовал в занятиях рисованием. Неделя кончалась быстро, Василь переходил к другим хозяевам, а я с нетерпением ждал, когда он снова придет к нам.

В повседневной жизни происходили разные события – большие и маленькие, имевшие какое-либо значение или интересные только для меня.

В десять часов утра по радио шла детская передача. Репродуктор висел в нашей комнате возле окна, представлял собой прямоугольный, плоский ящик, на лицевой стороне которого

дядей Колей было изображено озеро с лебедями, с берегами, поросшими лесом, и розовым расцветным небом. Взобравшись на подоконник, затаив дыхание, боясь пропустить хоть слово, я слушал интереснейшие инсценировки: «Пятнадцатилетний капитан», «Али-Баба и сорок разбойников», «Аладдин и волшебная лампа». Длинные инсценировки транслировались в течение нескольких дней, и все это время я находился в горячем возбуждении и нетерпеливом ожидании продолжения передачи, захватившей воображение, взволновавшей видениями чудесных стран и опасных приключений.

Внезапно по улице с грохотом на булыжной мостовой мчалась танкетка. Я не успевал добежать к забору, чтобы поближе ее рассмотреть, как она, развернувшись, с лязгом уносилась обратно.

Вдруг улица преображалась: двигался шумный и пестрый цыганский табор. Ехали повозки, шли цыганки в своих невероятных платьях и юбках, увешанные серьгами и монисто, возле них скакали и прыгали разного возраста цыганята. Долго потом ходили рассказы о хитрых цыганках и обманутых обывателях.

Зимой дядя Коля принес и положил во дворе, недалеко от калитки, раздобытую где-то длинную, метра четыре, железную полосу. С улицы она хорошо была видна на снегу. Однажды, когда я гулял во дворе, по улице проезжал на санях крестьянин. Увидев полосу, он остановился и стал спрашивать моего согласия взять ее себе, за это предлагал прокатить меня на санях. Я, конечно, согласился. Хитрый колхозник быстро положил полосу в сани, посадил меня, и я проехал с ним метров триста. Он прокатил бы меня сколько угодно еще, но я сам не решился ехать дальше. Дома пропажа полосы быстро обнаружилась, и меня ругали за то, что я так глуп: из этой полосы дядя Гена собирался заказать у кузнеца хорошие санки.

Летом из Москвы приехал старший брат матери дядя Вася с сыном Вадимом, моим двоюродным братом. Вадик был старше на четыре года, настоящий москвич – шустрый и быстро соображавший. Мы увидели из окна бредущую по дороге без кучера извозчицью лошадь с коляской. У Вадика тут же сработала смекалка. «Бежим!» – скомандовал он. В одно мгновение мы оказались возле лошади. Я запрыгнул на сиденье, Вадик – на облучок, взял вожжи, и мы поехали. Это был настоящий угон транспортного средства.

Вдруг сзади послышался крик: размахивая кнутом, за нами бежал извозчик. Вадик остановил лошадь. Извозчик подбежал и... стал благодарить нас за то, что мы сберегли коляску и лошадь, еще и прокатил нас. И, нужно сказать, это несравненное удовольствие. Кто сейчас может понять такое? Рессорная коляска на шинах, кожаные сиденья, прорезиненный, со специфическим запахом, откидной верх, сверкающие лаком и никелем детали, конь-красавец, отличная сбруя. Катись, будто плывешь, и по мостовой цокают подковы.

В Москву попеременно ездили дедушка, бабушка навестить дядю Васю, дядю Федю с их семьями, ездил отец. Каждый раз я с нетерпением ждал их возвращения: они должны были привезти новую книжку. Из этих книжек запомнилась большого формата с приятной желтенькой обложкой – стихи Михалкова. Стихи мне понравились, как и сама книжка, хорошо оформленная, с интересными картинками. Стихи были про дядю Степу, про туриста и самое интересное про упрямого Фому.

Иногда случалось мне заболеть. Тогда приходил доктор, добродушный человек – кругленький, с животиком, с головой, лишенной малейших признаков растительности, имевший при себе в саквояже докторские принадлежности. Входя с мороза, он раздевался с помощью бабушки, умывал руки нагретой для него водой, спрашивал, что случилось, доставал из саквояжа докторский халат, облачался в него, подходил ко мне, лежавшему в постели, давал измерить температуру, выслушивал с помощью трубочки, выстукивал, спрашивал, просил чайную ложечку, пользуясь которой осматривал горло, требовал сказать «а-а-а». Наконец, выписывал «микстурку», «порошочки», рекомендовал горчичники, грелку, компресс или банки, говорил

что-нибудь подбадривающее, а выполнив все что нужно, снимал халат, укладывал его и прочее в саквояж и уходил. Позже я узнал, что доктор был всего лишь фельдшером.

Однажды у меня заболело ухо. Было назначено лечение. Ночью боль в ухе усилилась. Я решил, никого не беспокоя, полечиться самому. Днем мне закапывали что-то, и на тумбочке, возле постели, стояло много разных пузырьков. Я выбрал наиболее полный, лег на здоровое ухо, а больное до краев наполнил из этого пузырька. Жидкость была прохладная, стало легче, и я уснул. Утром, подойдя ко мне, мать и бабушка всплеснули руками. Оказалось, я влил себе скипидар, который к тому же разлился по щеке, образовав ожог.

В то время всем детям в обязательном порядке делали прививку против дифтерита. Делали три очень болезненных укола с перерывом между ними в несколько дней.

Мы с Эммой обедаем в кухне. Во дворе мелькает фигура, мы сразу узнаем: это укольщик. Эмма начинает громко кричать. Бабушка уговаривает, утешает ее. Я, как мужчина, креплюсь.

Укольщик раскладывает сверкающие никелем страшные свои приспособления. Он рыжий, говорит что-то успокаивающее, но мы-то знаем, как больно будет несколько дней после укола.

В разное время у меня были ворона, воробей, белочка. Ворону подстрелил из самопала Василь. Она была ранена в крыло и не могла летать. Я ухаживал за нею, но она умерла. Я устроил ей настоящие похороны в гробике, для чего использовал подходящую коробочку. За сараем вырыл ямку, сделал надгробный бугорок, соорудил памятник из какой-то палочки.

Воробья, замерзавшего на снегу, принес дядя Коля. Он отогрелся, ожил и стал перелетать из комнаты в комнату, возбудив алчное внимание Миньки. Я гнал Миньку, защищая воробья, но все было напрасно. Глаза у Миньки разгорались, он прыгал за воробьем на шкаф, на печку, и однажды я нашел под кроватью маленькую кучку перышек – все, что осталось от бедного воробья.

Белочка была симпатичным забавным зверьком. Мне подарили ее крохотным бельчонком, рыженьким и пушистым. Выросши, она сделалась ручной, забиралась в кухню на стол, подсакивала к сахарнице, хватала лапками кусочек сахара, тут же грызла его. Она жила свободно, не в клетке, любила, свернувшись калачиком, поспать на постели в темной спальне дедушки и бабушки. Придя с работы, дедушка решил отдохнуть и, не заметив, лег прямо на белочку. Несколько дней после этого она проболела и умерла.

Как у всех маленьких детей, у меня были любимые и нелюбимые кушанья. Нелюбимыми были фасолевый суп и суп с сушеными грибами. А самое любимое кушанье – черный хлеб, накрошенный в кружку и залитый молоком. Я появился на свет в голодное время, и мать рассказывала, как однажды ехала она со мной в поезде и стала кормить меня этим крошевом. Я был еще совсем мал, а рядом ехал военный, который проникся к младенцу сочувствием и дал матери батон прекрасного белого хлеба. Младенец же поразил доброго человека тем, что отказался есть белый хлеб, а продолжал употреблять свой черный с молоком. Конечно, были и любимые лакомства: заварное пирожное, мороженое. Мороженое продавалось на улице из бидона. Мороженщица черпала ложкой некоторое количество, закладывала в форму и выдавливала порцию в виде бочонка, заключенного между двумя вафельками. Оно имело приятный желтоватый цвет, было очень вкусно и стоило копейки. Около мороженщицы постоянно толпились дети.

Дядя Коля и дедушка ходили по грибы, приносили полные корзины боровиков, подосиновиков, маслят, испускавших особенный грибной аромат. Ходили и по орехи. А однажды дядя Коля принес целую корзину живых черных раков. Бабушка потом бросала их в кипяток. Они становились красными, и белое мясо их было очень вкусно.

В весеннем саду цвели деревья. Мириады пчел наполняли его дремотным гуденьем, погружая в состояние, будто это успокаивающий, сладкий сон. Ярко потом желтели одуванчики, свежо зеленела нежная травка. Славно было сидеть или лежать на ней, глядя в небо,

где высоко-высоко летел самолет с прицепленной к нему «колбасой». Другой самолет стрелял в нее из пулемета. Иногда пролетающий на небольшой высоте самолет выбрасывал листовки, засыпая ими улицу, двор, сад. Я собирал их потом – все, сколько мог найти. Текст листовок, конечно, никого не интересовал, но зрелище, когда они падали с неба, вызывало восторг. Видел я и дирижабль, летевший медленно и высоко.

В саду был шалаш, но гулять по саду не разрешалось до тех пор, пока дедушка не скосит траву для коровы. А когда сушилось сено, по саду распространялся чудесный запах его, смешанный с запахом зреющих яблок.

В саду, за сараем, я нашел неизвестно как и откуда попавшую туда книгу для чтения, наверное, в четвертом классе, с оторванной обложкой. Там я прочел запомнившееся с тех пор:

Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало...

Это была дорогая находка. Я не расставался с книжкой до тех пор, пока не прочел всю – рассказы, сказки, стихи.

Книги были моей страстью, но, может быть, потому, что во мне жил также художник, я любил книги с хорошими картинками, которые рассматривал подолгу и помногу раз. Я не мог заставить себя читать книгу, лишённую иллюстраций. Они возбуждали во мне интерес к содержанию, разжигали воображение. Такие книги оставили незабываемую память не только из-за содержания, но и по воспоминаниям общения с ними. Вначале это были «Русские народные сказки», «Конек-Горбунок», сказки Пушкина, Чуковского, потом сказки Андерсена, «Тысячи и одной ночи». Прелестная книжка-малышка величиной с ладонь содержала всего два стихотворения и была замечательно украшена цветными рисунками. Одно было стихотворение Жуковского про котика и козлика, другое – Пушкина: «Румяной зарею покрылся восток...».

Волшебство этих слов было восхитительно тонко повторено в рисунке и цвете: заря, село за рекой, стадо на зеленом лугу...

Любимой игрой стало самому делать книжки. Я нарезал одноформатные кусочки бумаги, сшивал их нитками в виде тетрадки, придумывал содержание, которое начиналось словами «жили-были», записывал его печатными буквами на каждой нижней половине страницы, а верхнюю украшал своими рисунками.

Мать отвела меня в клубную библиотеку. Меня записали, выдали книги, и это было величайшее событие. Библиотека произвела неизгладимое впечатление. Книги там громоздились на полках до самого потолка. Многие были потрепанные, старые, с замусоленными и лохматыми страницами, они-то привлекали в первую очередь. От них исходил волшебный книжный дух. Я не любил совсем новых, нетронутых книг, если они были к тому же без картинок. Пользуясь предоставленной мне возможностью, я прочел много интересных книг. Но вот однажды мне дали «Гуттаперчевого мальчика», я почему-то никак не мог приняться за его чтение – должно быть, рисунки в книжке были неинтересны, – и мой братишка, которому исполнилось тогда столько, что он сумел взять ножницы, порезал ее. Это был страшный удар. Я не мог вернуть испорченную книгу и перестал ходить в библиотеку. Так продолжалось долго. Наконец через мать я получил требование явиться в библиотеку. Страшась наказания, чувствуя себя преступником, я понес изуродованную книгу. Но странно: меня не ругали и, к еще большему удивлению, без малейшего упрека оставили право пользоваться книгами. Повесть о гуттаперчевом мальчике я прочел значительно позже. Я оценил ее и навсегда запомнил слова эпитафии: «Когда я родился, я заплакал. С тех пор каждый прожитый мною день объяснял мне, почему я заплакал, когда родился...».

Из разговоров взрослых было известно, что на чердаке нашего дома свалены в кучу какие-то старые, наверняка интереснейшие книги. Я сгорал нетерпеливой мечтой о времени,

когда смогу забраться туда, увидеть все своими глазами, разобрать этот клад и, конечно, найти там такое, что окажется интересней всего, что я знал до этих пор. Из этих сокровищ кто-то достал однажды «Войну миров» – жуткое и захватывающее чтение о нападении на землю марсиан, с выразительными, надолго врезавшимися в память иллюстрациями.

Как новое счастье, приходила весна. Звенели капли, сверкали сосульки, таял, сокращался в своих наметах снег. Суетились, поднимали гвалт воробьи. Небо становилось нежной, чистой голубизны, ярко и горячо сверкало солнце. На улице перед домом шумливые ватаги мальчишек пускали кораблики, делали запруды, строили мельницы.

В саду на лоне прошлогодней травы прозрачными струями изливались хрустальные ручьи. Переливаясь, вспыхивая отраженными лучами, они журчали ласково, грустно, навевая чувства неизъяснимые, томительные мечты о неведомом, потаенном, которое где-то существует и мучительно желанно. Какие они могли быть в том, младенческом бытии? Под ярким небом и слепящим солнцем детское воображение было не в силах представить отчетливое их видение. И не было никого, кто пришел бы сюда, и здесь, в сверкающей тишине весеннего сада, при сладостных звуках торопливых струй обрисовал их образы, назвал ускользящие их имена...

Иногда, промочив ноги и простудившись, я должен был сидеть дома, и тогда было непереносимой мукой наблюдать из окна ликование весны, оставаясь запертым в четырех стенах, в то время как на улице другие дети предавались шумным своим забавам.

Но вот становилось сухо, все начинало зеленеть и цвести, принося с каждым днем новые впечатления и новую радость: первая травка, первая бабочка, первый листок на дереве, майские жуки, ласточки. Наступало лето со своим теплом и зноем, с грозами и бурными ливнями, с лепечущей листвой, с плодами, зреющими в саду, с долгими мечтательными вечерами.

Какое это было блаженство – первый раз после холодов выйти из дома только в рубашечке и с непокрытой головой! И каждый день находить в природе все новые, всегда как чудо, ее превращения: белое и розовое буйство цветущего сада, усыпляющее гуденье пчел, а по другую сторону забора, в березовой роще, мелкая, яркая вначале зелень листочков с каждым днем становилась гуще, темней, и вот она наполнялась протяжным шепотом, шумом. Там, в саду, глаза невольно устремлялись в небо, где проходили медленные облака. Они, пустынная и бескрайняя голубизна над ними, легкий и ласковый этот шум завораживали, заставляли долго смотреть и слушать, и от этого, как от доброй улыбки, становилось так радостно и так хорошо.

Жаркие полдни, задумчивые облака, пылающие закаты тихих и теплых вечеров... Знойным дням, казалось, не будет конца... Но лето заканчивалось. Дедушка начинал убирать яблоки и груши с помощью длиннейшего шеста, расщепленного на конце, осторожно снимая с дерева каждый плод, бережно укладывая их горкой на траве. Сад наполнял запах антоновских яблок.

Шла осень. Дни становились короче, солнце больше не жгло, отдавая земле последнее свое тепло. На деревьях желтели и краснели листья. Дедушка сгребал их в большие кучи – они были ярких и разных расцветок. И было особенным удовольствием лежать на них и смотреть в небо. Оно было синее, но не такое, как весной, – остывающее, прохладней и как будто темней.

После солнечных дней сентября начинали идти дожди. Листья все падали, устилая землю ярким и пестрым ковром. Холодный ветер гнал их, разбрасывая по дороге. Дни наступали мрачные, темные. Тяжелые тучи укрывали небо. Голые деревья мокли под ледяным дождем. Начинался ноябрь.

В такие дни в комнатах было сумрачно, скучно. Бабушка, как всегда, хлопотала на кухне, уходила надолго в сарай к своим подопечным. Я слушал радио, читал, рисовал, смотрел в окно, наверное, о чем-то думал...

Вечером в спальне бабушка топила печку – круглую, в железном панцире, у нас она называлась голландкой. Если приходила Эмма, мы подступали к бабушке с двух сторон, упрашивая

ее рассказывать сказки. Она сидела на низенькой скамеечке, подбрасывала в топку поленья, ворошила их кочергой. Спальню окутывал мрак, на стенах, оклеенных старинными обоями, плясали отсветы пламени. От печки вместе с ее жаром, от самой бабушки шла волна домашнего уюта, и казалось, что волшебное, чудесное – оно уже здесь, рядом, сейчас.

Темная спальня была нашим любимым местом. Здесь мы никому не мешали и нас никто не видел. Мы как-то играли, рассказывали что-то, наверное, хвастались друг перед другом чем-нибудь. В спальне стоял большой мешок с сушеными яблоками и грушами, из которых бабушка варила компот. Мы выискивали там сладкие груши и лакомились ими.

Между нами завязывался ученый диспут о происхождении человека. Я утверждал, что человек произошел от обезьяны.

– А вот и нет, – возражала Эмма, – человек произошел из живота!

Как можно было поверить в такую глупость?! Как это человек может произойти из живота?! От обезьяны – это понятно, но из живота?! Но Эмма стояла на своем. И было странно, что когда мы обращались за разрешением спора к взрослым, то ответ был какой-то неопределенный. Мне говорили:

– Да, человек произошел от обезьяны.

Но как будто были согласны и с Эммой, и она торжествовала надо мной:

– А вот и нет! А вот и нет!..

Конечно, мы и ссорились, бывали обиды. Во время грандиозного фейерверка в парке к нам в сад опустился парашютик от сгоревшего на нем пиротехнического заряда. Я считал, что парашютик должен принадлежать мне, потому что и двор, и сад считал своими, так как я здесь жил, но взрослые присудили парашютик Эмме. Качествами джентльмена я не обладал, потому был обижен до слез и понял, что Эмму любят больше, чем меня. Между тем парашютик был всего лишь куском бесцветного парашютного шелка с примитивным устройством для удержания под ним горючей смеси. Обиды, конечно, забывались, ведь я любил Эмму, и мы встречались не так часто, сколько хотелось.

Но вот однажды, проснувшись утром в своей постели, я замечал странную перемену в доме. Комната вдруг стала какой-то особенно светлой и большой. Из кухни слышалось, как входящие со двора громко топали у порога и как-то по-новому, бодро звучали голоса. Из постели я подбежал к окну, и чудо: там все было бело, вчерашнего мрака, черноты как не бывало! С неба крупными медлительными хлопьями, беззвучно кружась, падал и падал снег.

Я быстро завтракал, быстро одевался, все, конечно, с помощью бабушки, шел во двор. Все-все там было покрыто белым, пушистым снегом: крыльцо, двор, сарай, каждое дерево и каждая ветка в саду, и то, что дальше – улица, весь город, и было тихо-тихо. Я подставлял лицо холодным снежинкам, лепил снежную бабу, снежки.

В один из таких дней после обильного снегопада во дворе собралась целая свора собак – должно быть, приятели нашего Томика. В компании выделялся большой черный пес с длинными ушами. С высокого крыльца я стал забрасывать собак снежками, на что они никак не отзывались, но все внимательно наблюдали за мной. Расхрабрившись, я стал спускаться по ступенькам крыльца, продолжая кидаться, и, наконец, сошел с последней. Тогда черный пес не спеша и молча подошел ко мне, поднялся передо мной на задние лапы, а передние положил мне на плечи. Я упал навзничь, и он стал надо мной. От страха я не мог ни пошевелиться, ни издать какой-либо звук. Черныш постоял так минуту, глядя поверх меня и как бы задумчиво, и отошел – с достоинством, не зарывав, не залаяв. Вскочив на ноги, я мгновенно взобрался на спасительное крыльцо.

С собаками было еще одно приключение. В нашем саду не было ни одной сливы. Между тем у соседки, старухи-польки, на ее участке, граничившем с нашим садом, росло как раз вдоль границы чуть ли не с десятков сливовых деревьев, плоды которых были отчаянно соблазнительны – крупные, светящиеся соком, желтые и розовые, и я лелеял мечту добраться до них.

Я часто прохаживался вдоль ограды из колючей проволоки, поглядывая на эти, такие близкие сливы, так что не мог не вызвать подозрений. И однажды, решив, что настал благоприятный момент, быстро подлез под протянутую колючку. От дома соседки, видимо все это время наблюдавшей за мной, тотчас понеслись ругательства на польско-русском наречии. Вслед за этим на меня устремилась целая свора собак, которых держала она. Мгновенно выскользнув из-под проволоки, я бросился бежать, но, видя, что собаки уже догнали меня, остановился под ближайшей яблоней, повернувшись к ним лицом. Их было пять или шесть. Они окружили меня и грозно облаивали. Постояв так некоторое время и решив, что ярость собак утихла, я выскочил во двор со всей быстротой, на какую только был способен, захлопнув калитку перед самым носом своры. Удивительно, но собаки, обычные дворняги, которые легко догнали меня, не укусили, хотя вполне могли это сделать. Может, они снизошли к моему глупому младенчеству и только поугадили меня?

Приближался Новый год. Я постоянно спрашивал взрослых, сколько еще осталось дней. Наконец, день этот наступал, в дом вносили елку – высокую, до потолка, раскидистую, пушистую, распространявшую по комнатам лесной дух, вызывавшую бурю восторга. После того как дедушка или дядя Коля устанавливали ее на кресте, мать и я начинали развешивать на ней украшения – игрушки, потом конфеты, печенье, грецкие орехи, завернутые в фольгу, красные яблочки, купленные, так как у нас таких не было, мандарины. На елке крепились также тонкие разноцветные свечи. Их зажигали под строгим присмотром взрослых. Мягко колеблющееся сияние их с золотым ореолом вокруг язычка пламени было волшебным трепетным, непередаваемо дивным. Погруженная в таинственный полусвет, мерцающая разноцветными огоньками, елка была настоящей сказкой, пришедшей в дом. Славно было забраться под навес раскинутых ветвей, к Деду Морозу, поставленному среди сугробов ватного снега, лежать так и думать, что вот ты уже в другой, чудесной стране и сейчас начнется удивительное, невозможное в обычной жизни, чего еще не было никогда!

Подарки для нас к Новому году были самые простые. На сохранившейся фотографии тридцать седьмого года мы с Эммой стоим возле нарядной елки и держим их в руках: у Эммы целлулоидный негритенок-голыш, у меня небольшая лошадка из папье-маше.

После Нового года тянулись долгие дни снегов и мороза. Снежные бури, вьюги, снегопады сменялись морозными солнечными днями. Тогда я катался во дворе и в саду на лыжах и санках. В доме было тепло, натоплено, играло и говорило радио, в кухне бабушка топила печь, орудовала ухватами, сковородниками, я опять рисовал, читал, но уже хотелось тепла, весны.

Совсем другая жизнь, манящая к себе, томившая желанием приобщиться к ней, шла за пределами двора и сада. На треке носились мотоциклисты, на футбольном поле разыгрывались матчи футболистов. Сквозь широкие щели забора все это было хорошо видно из нашего сада.

По вечерам в березовой роще шло гулянье. Вдоль цветочных клумб и кустарниковых шпалер непрерывными потоками шли нарядно одетые люди, оживленно разговаривая, смеясь. На балконе летнего клуба играл духовой оркестр. Внизу, на площадке, кружились танцующие пары. Иногда устраивался зрелищный фейерверк, как тот, когда мы поссорились из-за упавшего в наш сад парашюта. Это было настолько похоже на то, что потом показывали в кинофильме «Истребители», что, казалось, там был именно этот фейерверк и наш парк. Парк посещали дядя Гена, тетя Варя, мать, брали с собой и нас с Эммой. Чувством этих прогулок был праздник среди огней, музыки, счастливой беспечной толпы.

Днем в парке было пустынно. Не было никого на аллеях, на треке, на футбольном поле. Тишина, которая приходила оттуда, соединялась с тишиной нашего сада, и тогда в этом мире оставались лишь солнце и небо, тихие шумы деревьев, мечтательная задумчивость природы.

Дом наш стоял рядом с вокзальной площадью, в центре которой за невысоким заборчиком был скверик, тенистый от разросшихся там желтых акаций. На нашей Первомайской улице,

смыкавшейся с площадью, во время праздников собирались демонстранты, гремели оркестры. Отсюда к центру города начиналось шествие колонн.

Ярким солнечным утром Первого мая сюда подошла полуторка с устроенными в кузове лавками, специально оборудованная к этому дню для перевозки детей. С разрешения матери я тоже забрался в эту машину, и много часов потом мы ехали вместе с потоком демонстрантов к центру города. Я, кажется, первый раз ехал так в машине. Конечно, это было исключительное событие. Кто был мальчишкой в те годы, поймет меня. А в обычные дни улица наша была малолюдная, тихая, даже пустынная.

Рядом с вокзалом находилось основное здание клуба, где была и библиотека. В клубе показывали кино. Деревянное строение это с архитектурными претензиями в виде каких-то башенок, шпилей, выкрашенное охрой и суриком, окружали старинные тополя. Фойе украшали растения в кадках. Здесь были столики для желающих поиграть в домино, шахматы, шашки. Перед началом сеанса с эстрады, специально устроенной для этого, выступали певцы, певицы, играл оркестр. Здесь я видел: «Огни большого города» и «Новые времена», «Волга-Волга», «Веселые ребята», «Дети капитана Гранта», «Василиса Прекрасная», фильмы о летчиках и моряках, о революции и гражданской войне, о шпионах и врагах народа. Эти последние, такие как «Ошибка инженера Кочина», «Партбилет», производили сильное, однако тяжелое впечатление. Несмотря на малый свой возраст, я вполне воспринимал подавляющий пафос этих картин.

Каждодневно сеявшаяся вокруг атмосфера страха тех дней, расклеенные повсюду плакаты, изображавшие «ежовые рукавицы» в действии, другие, подобные им, достигали того результата, на который были рассчитаны. Ходили пугающие слухи о шпионах и диверсантах, которых, кажется, было уже столько, что опасность подстерегла на каждом шагу. Каждодневные разговоры взрослых о том, что ночью «взяли» кого-то, заставляли держать в уме постоянную, смутную тревогу. И однажды глубокой ночью – а все эти дела, как и вообще черные дела, творились по ночам – к нам громко и настойчиво постучали. Вошли люди в форме НКВД. Начальник спросил фамилии проживающих, потребовал паспорт бабушки. Сидя за столом, он смотрел в свои бумаги и что-то писал. Вдруг он спросил имя-отчество бабушки, хотя паспорт был у него перед глазами. Бабушка ответил, а энкэвэдэшник назвал из своих бумаг другие имя и отчество. Оказалось, пришли за другим человеком под той же фамилией, жившим в маленькой избушке позади нашего дома. Так бабушка и все родные пережили несколько минут настоящего страха. В ту ночь добыча служителей преисподней была в другом месте.

А в первые дни нового года, рано утром, пришли все в слезах тетя Варя и Эмма: ночью забрали дядю Гену. Дяде, однако, невероятно повезло. Он попал в тот короткий промежуток, когда некоторых арестованных выпустили. Его освободили через две недели, он вышел бледный, заросший черной бородой. Были и радость, и слезы по поводу его освобождения, и потом он рассказывал, как их били валенком, в который закладывали тяжелый камень. Так отбивали внутренности, не оставляя на теле пыточных следов. Думаю, не последней причиной ранней смерти дяди Гены была и эта.

Обстановка окружающей враждебности, чувство, что кругом шпионы и враги, усиливались проходившими судебными процессами над троцкистами и бухаринцами, а также обычаем устраивать грандиозные похороны крупных деятелей и героев, как Горький, Орджоникидзе, Чкалов. Трансляции этих похорон с чеканным голосом диктора и траурной музыкой вызывали мрачные впечатления и тяжелые чувства. Из нашего репродуктора я слушал их затаив дыхание каждый раз от начала до конца.

Происходили еще какие-то странные, в то время непонятные события. Однажды все обозримое небо покрыло несметное количество самолетов-бомбовозов, летевших низко, медленно, тяжело. Перелет длился довольно долго. Что это было? Не знаю об этом ничего до сих пор. В другой раз, тоже на небольшой высоте, пролетел какой-то не такой, не наш самолет. Из

разговоров взрослых было знание, что это немецкий, фашистский самолет, и почему-то из-за этого плакала Эмма. Возможно, на этом самолете в Москву прилетал Риббентроп?

Конечно, нам было известно о существовании очень плохих людей – фашистов. Они находились в Германии и убивали всех хороших людей, а особенно самых лучших – коммунистов. Об этом рассказывал фильм «Карл Бруннер», в котором трогала судьба немецкого мальчика, представленная человечно, интересно. Шла война в Испании, фашистские самолеты бомбили испанские города. В «Правде» была напечатана карикатура: могучий республиканский солдат наносит сокрушительный удар генералу Франко – а он же и есть фашист, – удар, от которого у злобного генерала из перекошенной пасти вылетали зубы. И гордо звучало: «Они не пройдут!».

Были в то время фильмы о жестоких басмачах и злых белофиннах. На вокзальной площади состоялся митинг летчиков, вернувшихся с финской войны. Они заполнили значительную часть площади – в темно-синей своей униформе, в пилотках, с медалями и орденами на груди, слушая выступавших ораторов.

Но были другие события, захватывавшие воображение: перелет Чкаловского экипажа через Северный полюс в Америку; Папанинская эпопея; подвиг летчиц самолета «Родина»; еще не утихли рассказы о недавней Челюскинской экспедиции, о летчиках Водопьянове, Громовете, Леваневском. В героическом обрамлении представлялись бои с японцами на Дальнем Востоке. Обо всем этом печаталось в газетах с большими заголовками, снимками, проводились помпезные передачи по радио, показывалось в кино. Таково было это время. И вот его голоса уже далеко, и мало кто слышит их.

В те дни мне пришлось близко столкнуться с тем фактом, что на свете есть смерть. Умерла молодая женщина, жившая через дорогу от нас. Похороны были многолюдные, с большим количеством цветов, с духовым оркестром и душераздирающей музыкой.

А незадолго до моего отбытия в санаторий умер от диспепсии мой десятимесячный братик. Хоронили его мать, дядя Гена, тетя Варя, Эмма и я. День был радостный, яркий. Я впервые оказался на кладбище. Затененное старыми деревьями, с памятниками и свежими холмиками могил, укрытыми венками, оно произвело неизгладимое, сложное впечатление, заставив подумать о тех, кто был и кого больше нет, о таинственном, страшном, обозначаемом словом «смерть».

Маленькая могилка была вырыта в ярко-желтом песке, на пологом спуске к долине, на краю кладбища. В красном гробике лежал хорошенький мальчик в кружевах, похожий на куклу чистым, без кровинки лицом. Страшное это было дело: пугающий зев могилы, куда навеки был положен и засыпан влажным песком маленький человек, и та роскошная картина летнего дня, говорившая о прекрасном и вечном. Как можно было соединить их? Сияло небо, светило солнце, все было в зелени, роскошной и яркой, шумящей под радостным ветром. Мать роняла молчаливые слезы, и по-детски громко безудержно плакала Эмма.

Несмотря на всю обстановку подозрительности и страха, на то, что кругом были враги и шпионы, все еще оставались солнце и небо, трава, деревья, оставались дом и дружба, весь круг близких и дорогих людей. А если тебе к тому же каких-нибудь пять или семь лет и когда у тебя есть все, какие мировые проблемы могут испортить жизнь?

Я оставался предоставленным самому себе в мире, где большую часть времени всем было не до меня. Жизнь эта казалась скучной, неинтересной, томила однообразием и одиночеством. Все это были одни и те же двор, сад, огород, и все я оставался один, сам с собой. Потому, когда происходили, пусть даже ничтожные события, они оживляли такие дни. Событием было чтение интересной, взятой в библиотеке книги, покупка новой, обычно грошовой книжки, коробочки цветных карандашей, интересная радиопередача, приход Эммы с родителями или наше посещение их дома.

Вот бабушка варит в саду вишневое варенье на костерке в латунном тазу, поставленном на два кирпича. Мы с Эммой стоим рядом и ждем, когда она соберет для нас вкусные пенки деревянной ложкой на длинном черенке. Или мы с бабушкой отправляемся в поле, где пасется стадо, чтобы подоить Сондру. Бабушка несет ведро, мы идем в конец улицы и оказываемся за городом, на природе. Солнце палит, оно в зените, небо безоблачно. По сторонам дороги высокие, редко посаженные ели, источающие под зноем смолистый аромат. Стадо пасется недалеко, нас встречает Василь, весь в сознании своей профессиональной ответственности. Он о чем-то говорит с бабушкой, для меня сейчас у него нет времени. Бабушка доит Сондру, получается полное ведро молока, и мы отправляемся в обратный путь. На улице мы проходим мимо большого двухэтажного дома, стоящего на пригорке за высоким забором. Это коммуна, подобная той, какую описал Макаренко. На крыше – трое коммунцев. Одного спустили с крыши вниз головой, двое других держат его за штаны. Висящий орет благим матом, приятели хохочут. Глядя на это, бабушка сокрушается, но что можно сделать?

Однажды возле нашего дома милиционер и красноармеец, разведя руки, ловили сбежавшего коммунца. Стриженный под ноль, в синей рубашке и зеленых штанах – видимо, специальной одежде для коммунцев, – прижатый к забору, он искал глазами, куда бы юркнуть, но бежать было некуда, он был пойман. Милиционер скрутил его, остановил проезжавшего на лошади колхозника, взвалил, как куль с картошкой, на телегу и повез в сторону коммуны.

В цирке, куда мы ходили с бабушкой, показывали поезд, пассажирами которого были разные звери: обезьянки, собачки, зайцы. А в кукольном театре я смотрел спектакль, где вместе с куклами на большой сцене с чудесными декорациями существовал настоящий, живой Иван. Спектакль назывался «Большой Иван».

По нашей улице, в противоположной стороне от парка, за углом, находился небольшой базар. Бабушка делала там необходимые покупки и часто брала меня с собой. Там было много интересного, мне нравился этот живой, цветистый мир. Тут продавались горы разнообразной глиняной посуды, также чугуны, сковороды, топоры и пилы, грабли, лопаты и рядом ярко раскрашенные глиняные игрушки: зайцы, собаки, свистульки в виде петушков и птичек; а еще вырезанные из дерева молотобойцы, медведи, старики и старухи; изделия из цветной бумаги; «морские жители», дудки, трещотки. На прилавках горки красных раков, разноцветные конфеты в виде круглых шаров и длинных палочек, соблазнительные штуки из мака с медом. В конце базара находился большой чан с керосином. Здесь всегда стояла очередь желающих получить его, ибо в каждом доме был примус, которым пользовались, чтобы не всякий раз топить печь.

На улице, возле базара, перед зданием почтамта, на асфальтированной площадке мальчишки устраивали катанье на самокатах, гремевших подшипниками, которые использовались для них.

Помнится еще, как бабушка вырвала мне зуб, который шатался и очень мешал. Она привязала крепкую суровую нитку одним концом к моему зубу, другим – к дверной ручке, вынула из плиты, которая в это время топилась, тлеющую головешку, одной рукой придержала дверь, а другой сунула мне к лицу головешку. Я отшатнулся – и зуб вылетел.

Иногда в выходной день мать отправлялась в город сделать какие-то покупки, и я упрашивал ее взять меня с собой. Мы доходили до театра, до центрального парка, откуда с высокой кручи открывался вид на Днепр и Заднепровье.

В городе было много интересного. Мы заходили и в книжный магазин, и мать покупала там что-нибудь мне. Назад я уже еле плелся от усталости, отставал, но в следующий раз опять упрашивал взять меня с собой.

В солнечный летний день железнодорожники организовали маевку с выездом народа в живописную местность, на берег Днепра – с буфетами, с музыкой духовых оркестров, с выступ-

лениями артистов. Взяли и нас с Эммой. Праздник получился замечательно незабываемый среди чудесной природы.

Мне было пять лет, когда я увидел во сне, будто в наш дом с высокого крыльца ломится волк, тот самый, от которого ускользнули три поросенка. Вскоре после этого я заболел. Началось с того, что я не мог держать голову естественным образом и стал носить ее на руке. Мне начали сниться кошмары. Я стал кричать по ночам, а проснувшись утром, укрытый с головой одеялом, не мог пошевелить руками, чтобы, отодвинув его, избавиться от духоты. Выход вскоре нашелся: я догадался стаскивать одеяло ногами, а немного полежав, мне возвращалась способность двигать руками.

Мать стала показывать меня врачам, и они лечили меня каждый на свой лад. Показали меня и местным профессорам, сделали рентгеновский снимок, но и на нем не увидели, в чем дело. Бабушка привела знахарку, она совершила надо мной таинственные манипуляции со свечами и невероятно толстой книгой, раскрыв которую, кропя меня водой, бормотала свои заклинания. Не помогло и это. Мать повезла меня в Минск. Там мы попали на прием к профессору Найману, позже, уже после войны, оболганному и уничтоженному бериевцами.

Я уже не мог идти сам, по многолюдной минской улице мать несла меня на руках. Я был тяжелый, мне было пять с половиной лет. Мать выбивалась из сил. Был осенний месяц, наверное, октябрь, день солнечный, но прохладный. При переходе через пересекающую улицу с головы у матери ветром сорвало берет, швырнув его под колеса проезжавшей эмки. Один из прохожих, военный, бросился за беретом и выхватил его из-под самого колеса.

В гостинице, с какого-то высокого этажа – так высоко я еще не был никогда – я видел, как далеко вниз ушла земля, какими маленькими там казались люди. Оставив меня в номере одного, мать уходила хлопотать о врачебном приеме.

Со мной были две игрушки: маленькие трактор и автомобиль. Они мало развлекали, я лежал в постели. Молчание, тишина окружали меня долгие часы.

Профессор, глянув на снимок, сделанный в Могилеве, тотчас поставил диагноз: ушиб шейного позвонка. Было предложено два лечебных варианта: гипсовая коробка, охватывающая голову и туловище, включая ягодицы, или специальный жесткий неснимаемый воротник. Я выбрал гипсовую коробку; воротник, который закует мне шею, пугал меня. Профессор сказал матери:

– Мужайтесь, будет ли лечебный эффект, неизвестно. В положительном случае в гипсе придется провести, может быть, лет пять.

Профессор был невысокого роста, подвижный, как колобок, с головой, полностью свободной от волос.

В назначенный день меня раздели догола, положили на столе лицом вниз, и группа студентов-практикантов, изучавших процедуру под руководством профессора, обступила стол, и каждый хотя бы один палец положил на меня, а на тело и голову стали накладывать влажные и холодные, пропитанные гипсом куски марли – несколько слоев. От страха, а больше от смущения и стыда я кричал на всю клинику.

Меньше чем через год мать привезла меня к профессору снова. Я был уже на ногах. Осмотрев меня, обращаясь к матери, профессор сказал:

– Вы счастливая мать, он вполне здоров.

Долгие восемь месяцев я пролежал в гипсовой коробке. Иногда заходили тетя Варя и Эмма, но не задерживались. Взрослые, как всегда, были озабочены своими делами. В комнате, кроме меня, в своей кровати барахтался Игорь, родившийся в то время, когда я заболел. Он был занят погремушкой, резиновым утенком и был почти беззвучный ребенок. Особенного ухода за мной не требовалось, потому что целые дни я оставался один. Вечером с работы приходила мать, что-то делала для Игоря, для меня, иногда ходила в кино с тетей Варей и дядей Геней, которые всегда брали с собой и Эмму, и, когда возвращалась, подсаживалась ко мне,

рассказывала содержание фильма, что-то из событий, происходивших в городе или на работе, а часто и читала что-нибудь вслух.

Мне давали книги, карандаши, бумагу – я читал или рисовал, положив бумагу на кусок фанеры. И когда уставал, думал о той жизни, которая протекала за стенами дома и была недоступна мне.

Прошла осень, прошли Новый год, елка, зима, прошла и весна. Стало тепло, зазеленела трава. В саду расстилала рядно, меня выносили из дома, клали на него, оставляя так на весь день. Позже ко мне приносили Игоря, который уже начинал подниматься на ноги. Возле нас ставили какой-то ящик, и он, держась за его край, вставал, пробовал ходить.

Долгие дни эти со мной были только сад с тяжелеющими плодами на ветках, бездонное небо и солнце. И рядом, словно маленькие подобия его, цвели одуванчики – нежный цветок, на который летела пчела. Заходившая ненадолго Эмма садилась на край рядна, сплетала из них венки, но вскоре уходила. Оставаясь один, целыми часами я смотрел в эту лазурь и думал... О чем?.. О чем можно думать в шесть лет?

К лету я начал тайком подниматься на ноги вместе со своей коробкой, привязанной ко мне бинтами, и пережил неожиданные ощущения: земля, которая долгое время оставалась у моих глаз, вдруг ушла страшно далеко вниз. У меня закружилась голова, я должен был вновь учиться ходить.

В следующем году меня отправили в туберкулезный санаторий. В туберкулезный потому, наверное, что предполагалась возможность возникновения этой болезни из-за ушиба позвоночника, на самом деле просто потому, что нужной путевки не было. Та путевка, которая по показаниям подходила мне, досталась другому ребенку.

До места назначения меня сопровождала чужая женщина. В незнакомом городе, куда мы прибыли поездом, за нами приехала эмка. Она развернулась на площади перед красивым зданием с овальным фасадом и колоннами по нему и выехала за город. В пути женщина и водитель оживленно беседовали. Предоставленный самому себе на заднем сидении, я впервые ехал в легковом автомобиле.

Небольшое светлое здание санатория, кажется, в два этажа, несколько других, стоявших рядом, видимо, хозяйственных, строений находились посреди соснового бора. Я оказался в группе детей такого же возраста. Там все было как в детском саду: большая комната с игрушками, спальня, где стояли наши кровати, столовая. Распорядок был тоже детсадовский. Лечение – исключительно целебным воздухом бора. Время, незанятое приемом пищи, послеобеденным сном, играми в комнате, проходило в лесу.

Но все здесь вызывало во мне отторжение. У меня не было никакой близости ни с кем из детей, все было постылым и чуждым, лишенным тепла. Я чувствовал вокруг пустоту. Ночью, когда все спали, я думал о доме, вспоминая умершего братика, плакал. Долгие годы потом слово «санаторий» вызывало во мне чувство нерадостного, чуждого. А в памяти остались картины дремучего бора, величавых деревьев. Задумчивый шепот, которым они обменивались друг с другом в вышине, дурмящий запах папоротников, густо разросшихся под ними, живо и ярко вспоминаются и теперь.

Одним из воспитателей и обслуживающих работников санатория был молодой мужчина, много времени проводивший с нами. Он вырезал для нас из толстой сосновой коры замечательные лодочки и кораблики. На них устанавливались бумажный парус и руль, и они красиво плавали в большой луже перед санаторием. Это мало развлекало меня. Даже когда воспитательница, расположившись на поляне среди окружавших ее детей, читала интересную книжку, я оставался в стороне, погруженный в свое.

Была там девочка, которая не росла. Считали, что воздух соснового бора поможет ей. Она была постарше остальных, но такого же роста, как и другие дети. И тоже держалась особняком, была молчалива, печальна.

В комнате для игр висела картина, изображавшая море, далекий в нем парус и на берегу женщину и мальчика, машущих ему рукой. Я никогда не видел моря, оно представлялось мне влекуще прекрасным. А парус? Одинокий? Я уже знал эти стихи. В них заключалась тайна. Оставшиеся на берегу не могут изменить судьбы, а море все дальше и дальше уносит надежду и счастье... Я все еще помню эту картину...

Я опять был у себя во дворе и в саду.

Станным образом я стал находить возле дома, в траве, ключи – отдельные и целыми связками. Откуда? Что это были за ключи? Возможно, среди них был и тот, волшебный, который откроет таинственную дверцу? Но, значит, и она тоже где-то здесь, близко? Я обследовал весь большой сарай и все уголки в саду, во дворе, в доме, но волшебной дверцы не было нигде. Я мечтал о чудесных приключениях, о Буратино и девочке с голубыми волосами. Я знал: они совсем близко. Ах, как хотелось оказаться в стране, где жили они! А эти двор и сад? Они были скучны, неинтересны, здесь все было известно до последней травинки. И каждый день все то же, одно и то же – солнце, деревья, небо, трава. И все время один. Эмма готовилась поступать в школу, у нее были новые подружки. Игорь был еще слишком мал.

Приближалась новая осень. К нам пришли соседи, которые жили в красивом казенном домике через дорогу. Это были мать и дочь, девочка моих лет. Девочка была хорошенькая, желтоволосая, с красивыми карими глазами, Женя. В то время как бабушка и мать Жени обсуждали что-то между собой, я показал ей свои книжки, рисунки. Она не выказала интереса ни к тому, ни к другому, а мне хотелось подружиться с ней.

Вскоре я побывал в доме этих, желанных для меня соседей. В большой комнате, освещенной лампой под оранжевым абажуром, был полусумрак: дом окружали тенистые деревья. За столом, стоявшим посреди комнаты, мать Жени что-то шила на машинке. В углу возле окна стояла детская кроватка с ковриком над нею, с вышитыми на нем желтенькими утятами. Но сближения между нами опять не получилось.

Каждый день, засыпая и просыпаясь, я думал о ней. О, как хотелось, чтобы мы были вместе – вместе играть! Нам было бы хорошо. Она была такая нежная, такая красивая.

Они пришли снова, и бабушка опять что-то обсуждала с матерью Жени. Мы были во дворе. Было солнечно, так славно и так чудесно. Я опять не знал, чем ее заинтересовать, а она оставалась странно неприступной.

– Хочешь, пойдем в сад, сорвем яблок? – сказал я, не придумав ничего другого. Я готов был для нее на все. Но она горделиво повела плечиками, посмотрев равнодушно, свысока:

– Подумаешь! Задастся своими яблоками! Задавака!

Стояли дни ранней осени. Солнце уже не жгло, не томило. Осенявшие парк березы, тополя вдоль улицы грустили о том, что прошло. В тихой задумчивости был старый сад... И она ушла... Мы жили так близко, но больше я не видел ее никогда...

Последние события и последние воспоминания всей той жизни относятся к сорок первому году. Я уже был школьник. Утром двадцать третьего июня я приехал из пионерского лагеря и увидел, как в городе поразительным образом все переменялось. Станция, примыкавшие к ней площадь и улица, тихие и малолюдные в прежнее время, были теперь словно встревоженный муравейник. Множество людей сновало здесь, не замечая ничего вокруг себя.

Дома была только бабушка. Мужчины находились неотлучно у себя на работе. Игорь – в детском саду и там оставался на ночь. Мать возвращалась из дома отдыха тем же поездом, каким ехал и я. Узнав об этом каким-то образом в пути, разыскивала меня на перроне, в то время как я был уже дома.

Едва я переступил порог, по радио была объявлена воздушная тревога. Со станции зазвучали частые гудки паровозов. Бабушка велела мне идти в сад, сама же оставалась у плиты. Тут же появилась и мать.

В саду еще продолжалась многообразно чарующая, мирная жизнь. В задумчивости, в тишине стояли деревья. Сияло небо. Сверкало солнце. С безмерной щедростью они одаривали землю своей благодатью. Им не было дела до человеческих безумств.

Дедушка уже вырыл глубокую яму. Как и все, что он делал, яма была выкопана аккуратно, старательно – совершенно круглая, диаметром метра два, с ровным, утрамбованным дном, со ступеньками для схода и выхода, с тщательно выровненным бруствером из вынутой земли. Трава уже была скошена, пахло сеном. Я сел на краю ямы, не спускаясь в нее. В небе, высоко-высоко, летел вражеский самолет. Далекий, таивший угрозу звук его моторов был слышен в саду.

В парке группа людей в штатском задержала некоего человека. В то время как там проверяли содержимое небольшого его чемодана и, кажется, что-то нашли, в сад неожиданно вбежал высокий мужчина, заросший черной недельной щетиной. Он явно спасался бегством. Не обращая внимания на меня, пугливо озираясь, увидев то, что происходило в парке, выскочил из сада и скрылся со двора.

Минуты через три в сад вбежали двое чекистов с пистолетами в руках, спросив, не забежал ли кто сюда. Я ответил, но куда дальше побежал тот человек, не мог показать: из сада этого не было видно.

День был роскошный, радостный – последние мгновения, которые я провел в этом саду, последние минуты той жизни, того далекого, невозвратного счастья, которое казалось тогда бесконечно скучным и так томило...

Во время оккупации из всей родни в городе оставалась только бабушка. Она не могла бросить дом и свое хозяйство, приглядывала еще и за домиком Эммы. По своей неистребимой потребности она приютила у себя нуждавшегося человека, который вскоре выгнал ее, присвоив себе и дом, и все имущество. Искать защиты было негде и не у кого.

После войны последние годы жизни бабушка бедствовала. Мы жили в другом городе. В последних письмах она писала: «...в жизни своей я много переплакала, но судьба уж верно моя такая, что мне до гробовой доски придется плакать, ну да что поделаешь – так, наверное, нужно...».

Дедушка, как только началась война, потребовал, чтобы ему дали магистральный паровоз. Ему было за семьдесят, и он уже давно не водил поезда. Было проведено медицинское освидетельствование, и оно показало, что дедушка по всем показателям здоров. Устроили проверку технических знаний, и опять дедушка поразил членов комиссии, без запинки ответив на все вопросы. Ему дали паровоз. Однако у него оставался все тот же недостаток: он засыпал, даже чуть ли не стоя. Потому вскоре его перевели на маневровый паровоз, потом сделали начальником угольных маршрутов. Он получал уголь в Кузбассе и Караганде, а в конце сорок третьего года работал уже ночным сторожем водокачки на станции Унеча. Однажды его нашли мертвым на далеком расстоянии от охраняемого объекта. Причина смерти не была установлена. Телесных повреждений не было, кроме небольшого синяка возле виска...

Бабушка лежит на том же Карабановском кладбище, где похоронен мой маленький братик, и тоже в безымянной могиле. Дом сгорел в последние дни оккупации при бомбежке. Сгорел сарай, исчез забор, от сада остались уродливые обрубки без ветвей и листьев. Думаю, сейчас уже нет и их. На месте старого доброго дома построен другой – небольшой двухэтажный, примитивной послевоенной архитектуры. Роскошный двор и все пространство сада вытоптаны, здесь уже ничего не растет.

Мне жаль старого дома. Долгими днями детства, когда я жил с ним, я не думал о нем. Только теперь пришло осознание того, почему там легко и хорошо было жить. Раньше в доме жили другие люди – те, кто построили его. Это была простая и добрая жизнь. Те люди, приносили сюда свои заботы, думы, страдания, здесь они работали, отдыхали и здесь любили. Они ушли не по своей воле, а дом хранил молчаливую память о них. Теплом, которое оставили

они, доброй памятью этой он согревал и нас. И значит, вместе с ним сгорела память и о тех людях, и о нас тоже...

Нет и того домика, где жила Эмма. Из всех нас она одна остается жить в Могилеве. А мать, отец, тетя Варя, дядя Гена, дядя Коля? Их тоже давно нет. Они умерли каждый в свой срок и покоятся в разных местах, далеко друг от друга.

Иногда вспоминаю и ту желтоволосую девочку. Что случилось с ней? Осталась ли жива после войны? Как сложилась ее жизнь? И много ли получила она от нее, такая красивая и такая гордая?

А я? Я живу далеко, в доме, где много подъездов и много квартир. Тесный двор заставлен машинами, мусорными баками, загажен собаками, время от времени нападающими на людей: они считают, что территория принадлежит им. Солнце почти не заглядывает в наши окна: их загораживают такие же высокие дома, небо чаще всего почему-то покрыто тучами. Три наши комнаты составляют меньшую площадь, чем та одна, в которой мы жили тогда. В комнатах даже в солнечные дни – полумрак. На улице приходится быть настороже: могут встретиться грабители, наркоманы, сумасшедшие, всевозможные мошенники, «подростки», которым скучно и надо развлечься. Зато в доме есть удобства.

Проходят годы, забываются черные дни и черные дела. Белый снег успокаивает чувства. А те, кто идут по нашим следам, скажут: «Да не было этого ничего!». А может, и просто ничего не скажут – промолчат, отвернутся, обратятся к своим заботам. Да и в самом деле, кому нужны то дерево и та трава, которые росли где-то там шестьдесят, семьдесят лет назад? Разве тому только, кто тогда, давным-давно, полный наивных надежд и фантазий, лежал на этой траве под этим деревом и смотрел в небо... И часто приходит на память любимая дедушкина поговорка: кто старого не видал, тот и новому рад.

Голос издалека

Я еще не был школьник, но уже знал о пионерах и пионерских лагерях. Я бредил ими. Жить среди леса, на берегу реки, походы с горнистом и барабанщиком, палатки, костры – что могло быть интереснее, лучше? И было настоящим чудом, что мечта моя вдруг сбылась. После первого класса, не во сне, а наяву я оказался в настоящем пионерском лагере.

Начальником лагеря был человек немолодой и неприметный. В лагере его видели редко. Никакими запомнившимися действиями, личным участием в жизни лагеря он не заявил о себе. Запомнился только тем, что одет был в том стиле, которому следовало тогда большое начальство, руководители государства, вожди. На нем был полувоенный френч с отложным воротником, застегнутый на все пуговицы. Фуражка военного покроя с матерчатым козырьком подчеркивала сходство с человеком немаленьким, может быть, даже указывала на личную преданность.

Всеми делами в лагере руководил старший пионервожатый лет тридцати или побольше, высокий, коротко стриженный, черноволосый, несмотря на молодость не имевший, кажется, ни одного природного зуба. Улыбка его сияла сплошным золотом. Золото было, видимо, различной пробы, потому зубы имели разный оттенок. Был он энергичный, спортивный, голос имел командирский, громкий, лагерем руководил решительно и строго. Вид вместе с тем имел веселый, но улыбка не давала повода надеяться на снисхождение.

Жили мы в больших и добротных деревянных бараках, совсем еще новых, в комнате четверо или пятеро из одного отряда. Мы сразу подружились. У нас завелся обычай перед сном рассказывать сказки. Сначала рассказывали все по очереди. Но вскоре выявился лучший рассказчик – деревенский парнишка, настоящий мужичок, серьезный и самостоятельный, – веснушчатый, с выгоревшими на солнце до бела волосами, одетый в простые деревенские домашнего производства, одежды. Фантазия из него была ключом. После того как все остальные выговорились, он стал бессменным рассказчиком историй, в которых действовали волшебники, разбойники, в то же время танки, самолеты, конница, Красная Армия и все, что только могло родиться в его голове. Мы все уважали нашего товарища, признавали в нем личность.

День начинался с пробудки, которую трубил горнист. Потом были утренний туалет, линейка. После завтрака поход из лагеря в интересные места с какими-нибудь занятиями, играми. Возвращались к обеду, после которого наступал мертвый час. Потом были полдник, снова занятия, развлечения, для чего имелись спортивные и прочие устройства и приспособления. Была и библиотека. После ужина горнист трубил отбой, и лагерь затихал до утра.

В центре лагеря стояла трибуна, перед которой на спланированной площадке выстраивались отряды на утреннюю и вечернюю поверки. На мачту перед трибуной поднимался флаг. На вечерней линейке с трибуны начальник лагеря и старший пионервожатый принимали рапорт дежурного. Отсюда зачитывались приказы, распоряжения, объявлялись благодарности и выговоры, сообщалось об исключении из лагеря провинившихся. Тут же объявлялось о назначениях для разных работ на следующий день. В одном из таких приказов был поименован и я. Мне было определено помогать на кухне, куда я и явился на другой день после полуденного отбоя.

Кухня находилась в отдельном бараке. Там стояли огромные котлы, в которых что-то варилось, было множество кастрюль, баков, всякой другой посуды и много женщин в белых поварских одеждах. Они были заняты каждая своим делом, на меня никто даже не посмотрел. Тогда я сам обратился к поварихе, которая была ближе других, объяснив, для чего я пришел. Не отрываясь от работы, чуть глянув на меня, женщина сказала:

– Какая уж от вас помощь, иди лучше погуляй.

Не заставив уговаривать себя, однако понимая, что полученное таким образом освобождение вовсе не оправдывало меня перед начальством, потому таясь, словно лазутчик, я выскользнул из лагеря и первый раз в жизни совсем один оказался в лесном царстве, радостно и любовно открывшем мне свои объятия.

Полный шумов и звуков лес был в игре солнечных и воздушных скольжений. Пробиваясь сквозь движущееся сплетение ветвей и листьев, на тропу с полудня падали жгучие лучи. Пронизывая игольчатые вершины сосен, теряясь и растворяясь среди тяжелых еловых лап, они наполняли лесное пространство сиянием благодатного лета, запахами разогретой ими растительности, самой земли.

На открытых местах ярко зеленели мягкие мхи, золотыми солнышками светились лютики, на высокой ножке колебались ромашки, в траве прятались нежные колокольчики, другие цветы, над которыми гудели пчелы, шмели, порхали нарядные бабочки, ползали жучки, божьи коровки. Вершинами деревьев, то ширясь, то затихая, тянулся протяжный шум. С разных сторон звенели птичьи голоса. В небе шли и таяли легкие облака. Вдали куковала кукушка.

Вересковые заросли шуршали под ногами. С вершины холма открывались синеющие дали. Снова и снова шел, затихая где-то, ласковый шепот.

Эти шум, вздохи, волнения кущей и трав, перебегающий ветерок, птичий пересвист, таинственные звуки в отдалениях дремотного бора, что значили они для души, впервые оказавшейся среди них, которые сами были словно живая душа природы? Никогда в том мире, откуда я пришел, где жил и куда должен был вернуться, не было так много радости и столько покоя... и таинственного многоголосья, и такой многозначщей тишины. И этот далекий, тоскующий среди роскошной природы зов. Их невозможно было понять, объяснить... Хотелось, чтобы никогда не кончались и лето, и этот день... Но счастье – всегда только краткий миг. И если в жизни случались такие мгновения, то самые яркие из них и самые памятные, конечно, те, тогда, в тот далекий день...

Минуты шли, проходили, и нужно было возвращаться.

Выход из леса, конечно, должен был остаться незамеченным. Достигнув опушки, за которой начинался лагерь, затаившись, я стал ожидать, когда горнист протрубит подъем.

Между тем я был уже не один. Ко мне присоединились девочка постарше и мальчик, которые, как и я, гуляли в лесу и тоже выжидали момент, чтобы незаметно вернуться в лагерь.

Там, однако, происходило что-то непонятное. Трубы горниста не было слышно, подъема еще не было, однако по территории уже пробегали то один, то другой, то несколько человек, и, главное, со стороны барака, где жили девчонки, стал доноситься все громче какой-то странный шум. Подождав минуту-другую, увидев, что движение в лагере необъяснимо возрастает, мы перебежали к бараку, откуда слышался тот непонятый звук.

На пороге большой комнаты нам открылось невероятное. Девчонки, которые здесь жили, все сразу не просто плакали, но прямо-таки голосили, заламывая руки, чуть ли не рвали на себе волосы. Мы остолбенели, никто ничего не мог объяснить, и сразу из многих уст одно и то же:

– Если бы вы знали!.. Если бы ваш отец!.. Если бы у вас был брат!..

По лагерю неожиданно разнеслось: «Все на митинг!».

Сразу же со всех концов лагеря все его население бросилось к трибуне, на которой стояли начальник лагеря, старший пионервожатый, кто-то еще. После продолжительной паузы, за время которой собравшиеся поутихли, с трудом подбирая слова, начальник объявил:

– Сегодня, на рассвете, на нашу родину, на Советский Союз, напала Германия... началась война...

Столь ужасное известие это поразило каждого, несколько секунд все оцепенело молчали. Начальник добавил, что лагерь немедленно закрывается и все должны отправиться по домам.

Поднялась суматоха, началось настоящее светопреставление. Все бросились сдавать какое-то имущество, постельные принадлежности, получать вещи из камеры хранения. Я побе-

жал сдавать библиотечную книгу, забрать свой чемодан. Все быстро покидали лагерь. Прошло каких-то час-полтора, и он опустел. Во всем лагере из обслуживающих работников осталось, может быть, два-три человека, которых даже не было видно, а из детей – двое: я и еще один мальчишка, мой земляк, с которым у меня почему-то не было никаких отношений, а была даже какая-то враждебность.

Роковые события не сблизили меня с моим антиподом. Он оставался где-то в другом месте, я его не видел. Было известно только, что за ним выезжает тетя, которая заберет и меня. Моя мать в это время была в доме отдыха.

Странно и жутковато было это – так внезапно остаться в полном одиночестве в большом, только что шумном, многонаселенном лагере. Потянулись томительные часы неизвестности, ожидания. Своего приятеля по несчастью я не видел. Из работников лагеря кто-то появлялся на минуту и снова исчезал. Со своим чемоданом я сидел на крыльце одного из барачков.

Длился, утекал, истаявал золотой этот день.

Суровые ели подходили к барачку и моему крыльцу. Окружавшие лагерь леса, отступая от него, простирались до горизонтов, и, по мере того как солнце продвигалось все дальше на запад, свет и тени изменяли картину природы. Она окрашивалась тонами безмятежной задумчивости, мирного покоя. Остывающее небо обретало все больше голубизны. Окрашенное вечерним золотом, оно дарило земле нежность, любовь, вспыхнув напоследок огненным закатом. Постепенно угас и он. Наступила ночь, тревожная и таинственная в своей тишине. Черное небо засверкало переливчатыми звездами. Шли, исчезая в вечности, долгие часы молчания, одиночества, мрака...

Долгожданная тетя приехала глубокой ночью. Сон разморил меня. Уже не помню, как мы покинули лагерь, как добрались до железной дороги, как сели в вагон.

Утром, сойдя с поезда, я увидел, как невероятно переменились наши станция и вокзал. Малолюдные или пустынные прежде, теперь они бурлили, переполненные взбудораженным народом. В ту самую минуту, когда я переступил порог своего дома и бабушка обернулась ко мне от плиты, по радио была объявлена воздушная тревога. От станции лихорадочно, жутко зазвучал сигнал, подаваемый сразу многими паровозами большого железнодорожного узла...

Прошли и канули в лету за годами годы, а в памяти остаются видение дня, самого чудесного, самого яркого из всех, какие были, и голос кукушки – одинокий, печальный, вещавший о том, что будет, что еще впереди. Кажется, он все еще доносится издалека...

Остановка в пути

На каникулах девочка была у бабушки, и, когда помогала на кухне, на нее опрокинулась кастрюля с кипятком. Ее обварило так, что вся передняя часть тела – грудь, живот, руки и ноги – покрылась ужасным струпом.

На девочке не было никакой одежды, даже самая легкая была ей непереносима. Она была укрыта простыней, из-под которой иногда показывалось, как в трещинах струпа сочится кроваво-слизистая влага.

Девочке было девять или десять лет. Мать и тетя переносили ее медицинскими носилками. Она лежала на спине, иногда произносила какое-то слово, страдающий голос был чуть слышен. Простыня оставляла открытыми личико, обрамлявшие его локоны золотых волос. На глазах время от времени выступали слезы. Склоняясь над нею, мать утирала их платочком.

С ними были другие две девочки и мальчик меньшего возраста, молчаливые и серьезные возле больной сестры. Носилки стояли у стенки вагона.

Ошеломленные, подавленные ужасными событиями, тем, что с ними происходило, люди молчали. В вагоне были только женщины и дети.

Мы выезжали в пригородную местность на три дня, на время предполагаемых бомбежек, как было объявлено властями. Было двадцать четвертое июня, шел третий день войны.

Жизнь переменялась мгновенно и катастрофически. Утром мать побежала на работу и уже через какой-нибудь час вернулась – также бегом, объявив с порога о нашем отъезде.

Сборы были недолгими. Вещей брать с собой не разрешалось: выезжали ведь на три дня. Взяли только в маленьком чемоданчике одеяльце, подушечку, кое-что из одежды – все для четырехлетнего братишки.

Дома оставалась только бабушка. Мужчины – отец, дедушка, дядя – находились при исполнении служебных обязанностей, не приходили на ночь, не показывались и днем.

Дом находился рядом с вокзальной площадью. Пустынная прежде, она превратилась в человеческий муравейник. Люди метались, спешили, сновали, натываясь друг на друга, не замечая ничего вокруг. Поезда отходили через каждые два часа – с теми, кто еще не знали, что они уже беженцы, а вскоре будут названы незнакомым до этого словом – эвакуированные.

В сопровождении бабушки мы прошли через площадь по перрону, забитому народом, вышли к поезду, забрались в один из вагонов, где еще можно было расположиться рядом с другими людьми.

На перроне царил смятение отъезда и расставанья. Он весь был заполнен волнующейся толпой. Происходили сцены, в которых изливалось неподдельное горе. Кто-то плакал, кто-то кого-то звал, торопясь говорили что-то важное, давали советы, напутствия. Все покрывалось разноголосицей общей неразберихи. А некоторые, кто уже находились в вагоне, и те, кто пришли проститься с ними, молчали, потому что все уже было сказано, и только смотрели друг другу в глаза, роняя слезу.

Бабушка оставалась в фартуке и платочке, как она была на кухне. Истекали последние минуты, когда мы были вместе. Вдруг вспомнили: не взяли хлеб, который остался дома. Без хлеба ехать было нельзя. Я бросился за ним сквозь толпу через перрон и привокзальную площадь.

Двор, крыльцо, кухня... За порогом открылась тишина покинутого дома... В окна било полуденное солнце. От плиты тянуло теплом, пахло обедом. Бабушкины ухваты и сковородники стояли на обычном месте, на столе – забытый хлеб... Минька подошел, сел против меня и долго смотрел мне в глаза. Бедный Минька – он все понимал...

В то время как я с буханкой в руках бежал назад, прямо над площадью, на небольшой высоте, разгорелся яростный бой двух десятков наших и немецких истребителей. В смертель-

ном клубке самолеты гонялись друг за другом. Над площадью стояли рев моторов и треск пулеметов. В муравейнике никто не обращал на это внимания. Один я остановился, замороженный зрелищем воздушной схватки: пропустить такое было невозможно. Поезд, конечно, ушел бы без меня, если бы не бабушка, внезапно возникшая передо мной:

– Ты что, хочешь остаться?

Мы побежали, и только что с помощью бабушки и матери я забрался в наш пульман, состав тронулся. Вдоль вагонов пронеслось – будто задавленный стон. Толпа двинулась за поездом. Он шел медленно, давая возможность сказать последнее слово, бросить последний взгляд. Утирая слезу, бабушка смотрела скорбными, много повидавшими глазами. Она-то знала, что это не на три дня...

Поезд шел то убыстряясь, то замедляя ход, иногда почему-то останавливаясь, простаивая среди цветущей природы. День был роскошно великолепный. При остановках многие выбегали к березам, к кустам, которые росли возле дороги, ломали большие ветки, прикрепляли их потом к стенкам вагонов, поезд зазеленел от них.

Ехали долго. Пригородные места, где можно было переждать бомбежки, давно миновали, и тогда некоторые из женщин стали совещаться о том, куда мы едем, зачем, где будет остановка. Одна из совещавшихся – толстая, энергичная, с мясистым лицом и черными волосами, с голосом твердым, мужеподобным, с манерой говорить уверенно, веско – стала убеждать не бросаться так вот вдруг, безоглядно, сойти на ближайшей станции, разузнать все обстоятельства, после чего станет видно, как быть дальше. Она же и взялась сделать такую разведку. И мы сошли у разъезда Оселье, оказавшегося совершенной глухоманью.

Здесь сплошной стеной стояли леса. Они отступали только у самого разъезда, оставляя место обширной луговине, густо поросшей по всему пространству цветистыми травами. День заканчивался. Мирная тишина простиралась над краем.

Кроме путейского домика, была здесь еще пара каких-то строений, но никого из людей – кажется, один только начальник разъезда, человек немолодой, крупный, усталый, озабоченный военными обстоятельствами, своими обязанностями, переговорами по служебному телефону, сочувственно и доброжелательно настроенный к нам.

Всего в группе оказалось человек шесть женщин и сколько-то детей. Было решено воспользоваться предложением начальника расположиться в доме, просторном, побеленном изнутри и снаружи, состоявшем из нескольких довольно больших комнат. Только что здесь жили какие-то рабочие, но уже не было никаких признаков жилого помещения – ни мебели, ни какой-либо обстановки, ни стула, ни табуретки. Пол был устлан какими-то бумагами.

До заката оставался какой-нибудь час. Все бродили по комнатам, соображая, как расположиться на голом полу. Вещей не было ни у кого.

Внезапно над разъездом закружил самолет. Он пролетел так низко, что было видно и летчика в его кабине, и промелькнувшие черные с желтым кресты на крыльях, свастику на хвосте. В воздухе прозвучала раскатистая пулеметная очередь – одна, вторая. Сделав два или три круга, самолет улетел. Настроение беженцев упало: было рискованно оставаться вблизи железной дороги.

Узкой тропинкой среди пахучих трав уже при совсем низком солнце маленький отряд направился к лесу. Малышей несли на руках их матери. Другие дети шли вперемежку со взрослыми, ту девочку несли на носилках. Братишка мой топал впереди матери, я замыкал шествие.

Лес был темный, хмурый. Расположились под шатром преогромной, разлапистой ели на образовавшемся от ее корней и нападавшей хвои обширном бугре, вокруг которого было сыро и даже болотисто. Полчища комаров налетели на нас. Женщины, как могли, устроили детей, постаравшись защитить их от безжалостных кровопийцев, долго и потихоньку разговаривали – конечно, о войне, о диверсантах, обо всем, что произошло, вспоминали тех, кто остался,

покинутый дом, что-то забытое в последнюю минуту. Иногда слышался голос той девочки, мать склонялась над ней.

Наступила ночь, черное молчание заполонило округу. В лесу и, кажется, во всем мире не было уже ни звука и ничего живого, только комары ныли и ныли. Не знаю, спал ли я вообще в эту ночь.

Утром все вернулись к разъезду. Предводительница была настроена по-боевому. Начальник остановил проходящий поезд, и она уехала, пообещав вернуться как можно скорее.

Ночевать в лесу больше не пришлось. Начальник показал баню, которая находилась в сотне шагов от разъезда, за деревьями, мы перебрались в нее.

Выстроенная в недавнее время, большая и ладная баня была еще совсем светлой древесины. Возле нее валялись груды щепы, два или три бревна. Последний раз ее топили, может, неделю назад, внутри было сухо и чисто. На полу, на лавках стояли деревянные шайки. Места было достаточно. Все разместились, кто как хотел. Я выбрал самую высокую полку – в парной, под потолком.

Самолеты больше не летали, а по железной дороге непрерывно шли поезда: с беженцами и грузовые – на восток; на запад – воинские эшелоны. Но это было как будто далеко, а там, где были мы, весь долгий день сверкало солнце, летали бабочки, пчелы, ползали божьи коровки, стайками прыгали кузнечики. Ромашки, лютики, колокольчики шептались о счастье, которое будет здесь и завтра, и всегда. Скрываясь в траве, я подолгу смотрел в небо, слушая звуки природы, вплетавшиеся в ее тишину.

Да, это было счастье. Но ведь не одна только природа, не одно сегодня и сейчас составляют его. И то только, что в тебе самом, не может быть полным счастьем. А то, что было раньше, что прошло, чего, может, не будет уже никогда? Наш старый сад, двор и дом, все столь милые сердцу уголки? Бабушка и дедушка, любимая сестра, тети, дяди? Книжки, те, о которых известно все – каждое слово и каждая картинка, и другие – только что купленные, оставшиеся лежать непрочитанными на столе?

На лужайке мы сидели, собравшись в кружок, и старшая девочка читала вслух книжку. Оказалось, был еще один слушатель: к нам подползла на расстояние двух или трех шагов небольшая змейка, должно быть медянка. Она лежала на примятой траве, наверное, долго, приподняв голову и глядя на нас, будто ей были интересны мы и то, о чем говорилось в книжке. Как только кто-то из девчонок увидел ее, раздался пронзительный визг, вмиг все разбежались. Кажется, это было единственное достойное упоминания приключение, которое случилось в нашем детском сообществе.

В поисках пропитания женщины посещали ближайшую деревню. С той же целью мать и я побывали в домике лесника, стоявшем в лесу, километра за три от разъезда. Он был совершенно такой, какие я видел у себя в книжке «Русские народные сказки»: кухонька, русская печь, горница – все прибранное, опрятное, светлое. Стены штукатуренные и побеленные, светлые окошечки с горшочками герани и столетника. Иконы, подзоры, горка подушек на высокой кровати, покрытой рядом. Грустные ходики, лоскутные половички, от печи – запах простой крестьянской еды. И опять тишина – чуткая, вкрадчивая, приходившая из лесных дебрей.

Кроткая, худенькая старушка накормила нас полным обедом. Бесшумно двигаясь, переставляя посуду, подсаживалась к столу, тихим голосом говорила доброе и печальное. Больше в избушке не было никого.

То были дни первобытной свободы, детских фантазий, дни счастья под солнцем, под небом, среди цветущей природы. А в это время горели города и деревни, лилась человеческая кровь...

Перед закатом женщины собирались возле бани, рассаживались на крыльце, на бревнах, обсуждали наше положение, беспокоились долгим отсутствием разведчицы. Вспоминали прошлую жизнь, родных и знакомых, думали о мужьях, о мужчинах, которые бьются с врагом.

Мальчишки бродили поблизости, выискивая что-то в траве и кустах, рассматривали это, показывали друг другу. Девочки держались возле матерей, слушая, о чем говорили они. Час наступал благодный, золотой. Та девочка тоже была здесь, на своих носилках.

Солнце клонилось ниже и ниже. Все кругом успокаивалось. Воздух делался столь чистым и таким прозрачным, что и самые далекие пространства рисовались четко и ясно. И вот уже лучи брызжут от закатного неба прямо в лицо, и цветет пронизанная ими лазурь.

Тайно я следил, как девочку выносили из бани и уносили обратно, как она проводила долгие часы на своих носилках, поставленных в светлой, движущейся тени подраставших берез. Мать и тетя не оставляли ее своей заботой, возле нее были сестрички и братик. Печальным колокольчиком звучал ее голосок. Но бывало, она оставалась одна. Странное желание тогда возникало во мне: подойти, сказать, сделать... но что? Нет, просто посмотреть в эти изболевшие, такие красивые глаза...

Ночью в бане стояли мрак и тишина. Мечты и фантазии уносили меня далеко. Я забывал о войне, о бабушке, которая осталась совсем одна, о доме. Я думал о девочке. Если бы она не была прикована к своим носилкам... Все могло быть иначе, по-другому... Здесь, под ласковым небом, мы бы читали интересные книжки, сплетали венки, и мы бы смеялись – просто так, потому что весело и все так хорошо. Потом мы бы лежали в траве и смотрели в небо: какое оно далекое, голубое, какие белые там облака, какие счастливые птицы. Мы бы весь день были вместе. Мы бы ушли далеко – на самый край поляны. Там мы построили бы домик из веток и трав. Мы спрятались бы в нем, нас бы искали, звали, а мы бы не отзывались, и нас никто бы не нашел. А когда пришла бы ночь, мы бы смотрели на звезды и рассказывали друг другу, как они красивы, какое черное таинственное небо раскинулось над землей. И мы бы навсегда остались в этом краю...

Через десять дней возвратилась отважная разведчица. Голова у нее была перебинтована, но она по-прежнему была в боевом духе. Все обступили ее и жадно ловили каждое слово. И она поведала неутешительные вести: немец прет, Минск взят, в Могилеве паника, город бомбят. Не сегодня-завтра они будут и здесь. О возвращении не может быть и речи.

Собираться всем нам была одна минута – посох да сума. Добрый начальник остановил для нас проходящий состав. Так как поезд, конечно, был переполнен, в один вагон все не могли поместиться, потому еще до его прихода рассредоточились вдоль путей. Поезд остановился только на одну минуту. Паровоз шел под парами, дрожал и сипел. Все оказались в разных вагонах. В один из них подали носилки, и поезд пошел...

Наши пути разошлись навсегда. Кто были они, те, с кем мы разделили незабываемые дни? Как провели военные годы? Все ли вернулись на родину? Остались ли живы? Только об одной нашей спутнице, а именно о предводительнице, был слух, что голова у нее была ранена не при бомбежке, а просто, пролезая под вагоном, она ударилась о буфер. Это была маленькая ложь, желание придать себе известный ореол. Но все равно это была женщина незаурядная, несомненно с героической жилкой. Конечно, она была и под бомбежкой, и не ее вина, что ранило ее не осколком. А кто из нас лишен человеческих слабостей, иногда и вполне невинных?

А девочка? Я убежден: тот, кому пришлось в этой жизни страдать, кто был надолго отторгнут от простых отношений, тот уже навсегда не такой, как другие. И не могу забыть полные слез глаза, их благодарность, когда однажды, таясь от всех, я положил ей на грудь самый красивый цветок, какой только мог найти на лугу...

Я знаю, почему это так. Нам хочется, чтобы и мы, когда нам будет плохо, были кому-то нужны...

Иногда детские фантазии возвращаются. Они увлекают в тот край и в те дни, и там мы одни – она и я. Мы собираем цветы, гоняемся за бабочками, смеемся просто так. И, когда устанем, садимся в траву и смотрим друг другу в глаза... В памяти она навсегда осталась той,

которая была девочка и так страдала... Да, как это ни глупо, мне кажется... Нет, пусть это слово останется здесь...

Хроника минувших дней

Бегство от войны, долгое странствие наше протяженными путями России закончилось за Волгой, в Удмуртии, в краю, о котором до этих пор мы ничего не знали, которому и сами были неизвестны и вовсе не нужны. Продолжительность переезда означала не только километры дорог, но и время: мы ехали без малого месяц через грады и веси, с остановками и задержками, пропуская воинские эшелоны, порой оказываясь при таких скоплениях народов, какие оставили след лишь в библейских временах – может быть, с тем же отчаянием, засевшим в мозгу беженцев: достать съестное, не потерять детей и родных, выбраться к местам, где преследующая угроза утратит смертоносную реальность.

Оказавшись в городе, конечно, самом лучшем для тех, кто жил в нем, мы не обрели там того, что оставили дома. Крепкие, сильные люди его были суровы и немногословны. Мы говорили на том же языке, понимали друг друга, но все было не то, не такое.

Дома обывателей скрывались за высоким непроницаемым забором. Вдоль улиц вместо тополей и берез росли сосны. Солнце как будто так же светило с безоблачного неба, было жарко, но и в самой природе, с той ее особенностью, что зной и прохлада были постоянно близки, не было для нас дружеского привета.

Суров и немногословен был хозяин, в доме которого поселились мы вместе с нашими земляками. Собственную мать, незаметную, неслышную старушку, содержал он в строгости, в полном подчинении своей воле. Была она еще и слепая, но в доме выполняла всякую работу – мыла полы, стирала. Сам же был хмур, черен, бородат и, видимо, в крепкой силе. Ни жены, ни детей не было. Каков был род его занятий, мы не знали.

Просторный дом в несколько комнат с высокими потолками, нештукатуреный по бревенчатым свежеструганным стенам, еще достраивался. Отведенная нам комната, где не было никакой мебели, до самого потолка была оклеена то ли афишами, то ли плакатами. Спали мы на голом полу.

Двор, огороженный крепким забором, был тщательно прибран, подметен. Конечно же, были сарай, огород.

С семьей Романовых мы держались вместе с самого отъезда. Их было пятеро: мать, Надежда Николаевна, бабушка, трое детей, старший из которых, Олег, был моим сверстником. Надежда Николаевна, ветеринарный врач, дружная с нами, приятная и внешне, и в общении, выглядела скромно, по-современному в одежде и причёске.

Утром и мать, и Надежда Николаевна уходили искать работу. Мы с Игорем и дети Романовы проводили время на улице. Широкая, поросшая травой, она была пустынна, движения по ней не было никакого. Мальчишки и девчонки, которые жили здесь, заняты были своими играми, к нам отнеслись безразлично.

Питались мы в столовой, недалеко от вокзала. Там при большом наплыве народа были шум, гам, толчея, торопливое возбуждение: все куда-то спешили, опаздывали. За каждым, кто уже сидел за столом, стоял следующий, дожидаясь своей очереди.

Наваристый гороховый суп, которым кормили, был необыкновенно вкусным. Других блюд, кажется, не было. Игорь, которому только что исполнилось четыре года, возымел вдруг невероятный аппетит и никак не мог наесться. Заканчивая свою порцию, он заглядывал в наши тарелки, жалобно выпрашивая добавки. Мы оставляли ему от своего, и он съедал все подчистую.

В те дни между прочими событиями мы посмотрели спектакль «Бедность не порок». Помещение было, видимо, клубное, спектакль дневной, наверное для детей, но это был настоящий театр, от которого осталось странное, чуждое тем дням воспоминание. Запомнились

содержание пьесы, имена действующих лиц – Гордей и Любим Торцовы. Запомнилась и песня, которую пел один из персонажей:

Одна гора высока,
А другая низка.
Одна милка далека,
А другая близко.

Надежда Николаевна вскоре нашла работу по своей специальности. Они готовились перебраться на казенную квартиру.

В такой же день, утром, к дому подкатил тарантас, которым правила наша мать; мы уезжали в деревню, где она получила работу, где нам предстояло и жить.

Тарантас был искусно сплетенной из ивовых прутьев корзиной с сиденьями внутри нее для ездоков и для кучера на облучке. Вещей с нами, кроме маленького чемоданчика, не было никаких. Мать с Игорем устроились внутри корзины, я взобрался на козлы, взял вожжи, и мы поехали.

Для меня это был опыт, о каком я не мог даже мечтать, хотя сидение мое на облучке и вожжи в руках имели чисто декоративное свойство. Стройная вороная лошадка, которую звали Дочка, прекрасно знала дорогу и не нуждалась ни в каком руководстве. Она была умница, но с характером, который вскоре и показала.

Было еще только утро: на небе ни облачка, солнце, поднимаясь, припекало. Выехав из города, тарантас покатыл полями, потом через лес, потом опять полем.

В лесу с обеих сторон дороги стояли ели и пихты, мрачные и суровые. В тени их дремали прохлада и сумрак, оттуда веяли запахи незнакомого края. Снова нахлынуло чувство чужбины, большее и глубже задевшее очарованием чуждой природы.

В поле дорога пошла среди высокой ржи. Небо у горизонта опускалось к неподвижным лесам. Там, вдалеке, оно сияло и нежилось, покрываясь тончайшим золотом. Солнце обнимало землю от края до края. Вокруг простиралась глушь, тишина. Нигде не было ни души.

Никто нам не встретился, и никто нас не обогнал. Дочка трусила легонько, под колесами тарантаса шуршали травы, среди посевов мелькали ромашки, васильки. Нам открывалось незнакомое и чудесное, и все острее думалось о покинутом доме.

Ехали долго. Дорога подошла к оврагу, на дне которого вдоль колеи лежало толстое бревно. Внезапно Дочка, шедшая до этого легкой рысью, рванула так, что я едва удержался на козлах. Видимо, решив наказать нахального мальчишку, осмелившегося управлять ею, левыми колесами она повела тарантас прямо на бревно. Тарантас накренился настолько, что, казалось, сейчас опрокинется. Испугавшись, я выкатился на дорогу.

В одно мгновение тарантас взлетел на другую сторону оврага и сейчас же скрылся за стенами высокой ржи. Обернувшись, мать едва успела что-то крикнуть, чего я не разобрал, и от страха, что остался один в неведомом краю, громко заголосил.

Кричать было бесполезно, да и не нужно. Весь в слезах, выбравшись из оврага, я увидел перед собой деревню. На пологой местности находились вразброс какие-то строения, там же был домик, у крыльца которого с навесом спокойно стояли Дочка и тарантас. Когда я подошел, из домика вышли мужчина и женщина, а с ними мать с Игорем.

Деревню составляли две слободы – верхняя и нижняя. Верхняя забиралась на гору, значительно возвышаясь над прудом и речушкой, протекавшей через него. Нижняя выстроилась на равнинной стороне, за речкой. Вокруг простиралась поля и леса.

Всего в деревне было двадцать восемь дворов. Она была русская, однако, как и все в округе русские деревни, имела удмуртское название – Кочекшур.

Мы поселились в верхней слободе, в самом ее конце, у околицы, на самом высоком месте, в избе аккуратной, чистой, имевшей традиционные горницу с кухней, русскую печь, полати, на которых мы потом спали.

Крестьянские подворья в деревне строились так, что они образовывали наглухо замкнутый порядок необходимых в хозяйстве строений. С улицы недоступный для постороннего мир замыкали высокие и широкие ворота. Рядом с воротами была и калитка, тоже глухая и прочная. Другие ворота с противоположной от улицы стороны открывались на приусадебные угодья. Подворье наших хозяев еще не имело такой завершенности. Не было забора, ворот, открытый двор зарастал спорышом, безлепестковой ромашкой, был огорожен только пряслами, вдоль которых густо и высоко поднималась лебеда.

Хозяином нашим оказался старик лет шестидесяти, лохматый, с рыжей, кудлатой бородой, ерник, матерщинник, с бегущей, мелкими шажками походкой. Хозяйка – может, чуть моложе, с пучком седых волос, плотная, в крепком теле, основательная, несуетная, постоянно и пристально занятая своим хозяйством. Ершистый старик внешне и характером сильно напоминал деда Каширина, каким он показан в известном кинофильме, с той разницей, что здесь он беспрекословно повиновался властной супружнице. Работал конюхом. Прибегая к обеду своими шажками, с порога начинал лепить: «Тит твою мать, тит твою мать», рассыпая одновременно позади себя: тр-тр-тр... Старуха строго останавливала его: «Стювайся!». И он подчинялся.

В день нашего приезда у хозяев гостил внук Юра, прибывший к ним из города, года на четыре старше меня – серьезный, рассудительный, умелый. Прежде чем что-нибудь сделать, соображал, прикидывал, не торопясь, не спеша. Он тут же предложил мне пойти ловить рыбу, отыскал в лабазе подходящее удилище, достал конский волос, сплел леску, взял грузило, крючок, поплавок, все это приладил как надо. Для себя удочка у него уже была, и мы пошли сначала вниз по деревне, потом крутым спуском влево, к пруду, на плотину.

Там уже сидели двое или трое таких же мальчишек. Все они знали Юру: здесь он был свой. Поздоровавшись с теми, кто оказался ближе, он выбрал место, распустил леску, насадил червяка, которых предварительно накопал на плотине сначала для моей удочки, потом для своей, закинул их, укрепил на берегу, рассказал, как рыба клюет, в какой момент нужно тащить.

Было еще только полдень. Солнце палило, а ожидаемой поклевки не было. Наконец Юра поймал рыбешку величиной с ладонь. У меня же за все это время так и не клюнуло. Дольше сидеть было бесполезно. Свернув удочки, мы вернулись домой.

Хозяйка зажарила пойманную рыбку и отдала нам с Игорем. Еще она дала нам по клинышку шаньги.

Юра позвал меня в лес, и мы пошли на лесную порубку через ржаное поле, которое началось сразу за околицей.

За нами увязался Колька, который давно вертелся здесь: его разбирало любопытство о появившихся чужаках. Он тоже был старше года на четыре и тут же стал учить меня специфическому лексикону, в чем я был полный профан. Он предлагал мне какое-нибудь выраженьице, и я, не понимая смысла, повторял его, как попугай. Это здорово веселило Кольку, он хватался за животики от смеха. Я оказался способным учеником, он сразу же обучил меня всему, что знал сам, и от того, как это у меня получалось, со смехом катался по земле.

Не участвуя в этом спектакле и не обращая внимания на Кольку, серьезным видом Юра показывал, что не одобряет его. Колькино общество с самого начала было неприятно и неуютно ему. Он рассчитывал провести время со мной, рассказывал, где нужно искать землянику и малину, объяснял, как делать серу, то есть жвачку, из еловой смолы – как выбрать смолу, как варить ее, довести до кипения, потом процедить через марлю или сито.

Когда мы вернулись, Колька тут же рассказал моей матери, как я обучался у него нехорошим словам. К большому удовольствию Кольки я получил от матери выговор. Но дело было сделано. С тех пор я не забыл преподанного Колькой урока. Позже с помощью моих деревенских наставников выучил еще и несколько выражений по-удмуртски и по-татарски – тоже, конечно, неприличных.

Времени было за полдень, но все еще жарко, когда из города прибыл младший сын хозяев Василий – Васька, в местном произношении Васькя, – спокойный, добродушный малый, большой и сильный, и тоже оказал мне свое расположение. Для меня он был «дяденька», хотя лет ему было всего восемнадцать. Он позвал меня проверить морды.

Втроем мы спустились по крутой горе к пруду – Василий, Юра и я. Плоскодонка была примкнута цепью к коряге. Василий открыл замок, мы сели в лодку, он направил ее к верховью пруда, густо поросшему рогозом. Оказавшись первый раз в лодке, мне было немного тревожно не чувствовать под собой устойчивой почвы.

Морды стояли в том месте, где начинались заросли рогоза. Василий достал сначала одну, разгрузил ее, потом другую. В обеих оказалось много подростковых окуней, а также по два крупных окуня и по два больших леща в каждой, и был еще один толстый, золотистый линь.

Вода в пруду была проточная, чистая. Чернея своими шишками, рогозы стеной покрывали все верховье пруда. Здесь их звали чернопалки.

По склону горы, откуда мы спустились, левее тропы росло десятка полтора высоких старых лип. Справа, в сотне шагов, по крутогорью, опускавшемуся к речке, начинался лес, состоявший опять же из пихты и ели.

И Василий, и Юра оставили самое доброе впечатление. Василий в тот же день навсегда покинул родную деревню. Уехал и Юра. Так прошел первый мой день на чужой стороне.

Мать стала работать бухгалтером в артели «Бондарь», располагавшейся по другую сторону пруда, на низкой стороне. Артель занималась изготовлением бочек, огромных чанов, шаек, используемых в бане, а также больших рогож. Было два как бы цеха. В длинном низком строении – то есть это была изба в несколько связей – размещались бондари со своим инструментом и верстаками. В другом, отдельном доме стояли ткацкие станки, на которых женщины ткали рогожи из мочала. Большой высокий сарай с постоянно распахнутыми воротами до самой крыши был забит тюками мочала.

На территории артели находились еще столовая, конюшня, стоял также домик, в одной половине которого была контора, в другой жила сторожиха с двумя сыновьями. В те дни артель гудела, как улей. Бондарный цех закрывался. Весь состав бондарей уходил на войну, оставался только ткацкий цех. Производился расчет, увольнение, все здесь было захвачено многоголосым брожением.

В артельской столовой мы опять ели вкусный гороховый суп. Кажется, здесь Игорь мог наконец наесться досыта. Но так продолжалось недолго. Все эти шум, многолюдство, толчея очень скоро прекратились, артель обезлюдела, закрылась и столовая.

Всех пригодных для армии мужчин быстро призвали. В последний, может быть, раз некоторые из них собрались на улице возле нашей избы, окружив Орлика, могучего красавца – гнедого жеребца-тяжеловоза с золотистой гривой. Обсуждали стати и достоинства его, сожалели, что забирают в армию. Через каких-то несколько дней не только Орлика, но и тех, кто сочувствовал ему, не осталось в деревне.

Началась новая жизнь, содержанием которой стала забота о хлебе насущном. Для эвакуированных государство определило выдачу муки, если не изменяет память – три килограмма на иждивенца и шесть на работника. За этой мукой ходили куда-то далеко, пешком, может быть, в сельсовет. Как долго производилась такая выдача, сейчас уже не помню.

До начала занятий в школе мы с Игорем осваивали незнакомое пространство. А вскоре у меня появилась обязанность: я должен был обеспечивать домашнюю потребность в топливе.

На той же порубке, в полутора километрах от деревни, кроме сучьев, было покинуто много остаточного леса: вершинные части деревьев, обрубки, обрезки бревен, часто довольно крупные. Стараясь набирать длинные жерди – по несколько в каждую подмышку, – я притаскивал это волоком домой. Вначале брал все подряд и что полегче. Но то, что было полегче, тронутое глением, не имело нужного качества. Хозяйка велела, чтобы такого я не брал. Дрова должны были обеспечивать полноценную топку печи.

Вечером, когда мать приходила с работы, мы отправлялись в лес, на ту же самую порубку, и там собирали грибы, землянику, малину. У каждого была посуда для сбора ягод. Игорю доставалась маленькая мисочка. Чаще всего найденные ягоды он клал в рот. Но вот на доньшке у него оказывалось шесть или десять ягодок, большую часть которых ему подкладывала мать. Собрать больше не получалось, он не мог отвести глаз от ягод, которые уже были. Не справившись с искушением, он клал одну из них в рот. Через минуту говорил, думая, что его никто не слышит: «Еще одну ягодку съем и больше не буду». Так повторялось еще и еще, после чего в мисочке оставалось две или три ягодки, и его огорчало, что их у него так немного.

Мать показывала, какие грибы можно собирать, какие нельзя. У нее набиралось больше и грибов, и ягод, но все равно этого было мало.

На порубке подрастали елки и елочки, возле пней возвышались навалы срубленных сучьев, сросшиеся с ними огромные муравейники, заросли малинника и крапивы.

Порубка занимала обширное пространство, за нею начинался настоящий дикий лес.

Мы делали такие походы ежедневно, пока позволяла погода.

Спали мы на полатах. Они были устроены над входом из сеней в горницу и протягивались от печи до стены. До самой стены дощатый настил не доходил, и бывало, Игорь во сне откатывался на край и падал отсюда вниз. К счастью, внизу в этом месте стояла кровать нашего старика, и падение с небольшой высоты было неопасно.

Все-таки Игорь постоянно попадал в какие-то переделки. На него насканивал соседский петух, просто не давал прохода, будто специально караулил, когда он выйдет на улицу. У соседей было несколько ульев, пчелы во множестве летали в этом месте. Кажется, они не трогали никого, но непременно норовили ужалить Игоря. Было у него элегантное по тому времени пальтишко – с отворотами, с хлястиком, с накладными карманами и красивыми пуговицами, приятного серого цвета. Была еще шапочка – вязаная, с помпоном, серенькая, с зеленой крапинкой. Из дома он уходил в них, а днем, когда становилось жарко, где-то их оставлял. Вскоре эти пальто и шляпу знала вся деревня, их постоянно находили в разных местах и возвращали нам. И он все время ныл от голода.

Хозяева наши были достаточные крестьяне. У них было все, что давала земля, на которой они трудились. К нам они отнеслись как к незванным и непрошеным пришельцам. Они рассуждали так: «Зачем нужно было уезжать от своего дома и своей земли? Ну и что, что война, что немцы?! Все равно вы должны были оставаться там, у себя». Они знали цену тяжелому крестьянскому труду. К тому же насилие, которое совершила и продолжала совершать над ними советская власть, лежало на них ярмом несвободы. Мы устраивались хотя при минимальной, но все-таки поддержке государства, и еще поэтому не вызывали их сочувствия.

В полдень старичок прибежал на обед. К столу подавалась баранья похлебка, отварная баранина. Ели вдвоем из одной миски деревянными ложками. Потом была паренка – тушеные свекла, репа, морковь. Были пироги со свеклой, с морковью и шаньги. Молоко было топленое и свежее, были и простокваша, и ряженка. Были яйца. Был всегда хлебный квас и свой ситный хлеб.

Обедали в кухне. Прежде чем приняться за трапезу, творили молитву, стоя перед иконой, висевшей над столом, в углу. Ели неспешно, обстоятельно, не разговаривая во время еды.

В то время как старик и старуха с аппетитом поглощали все эти яства, мы с Игорем, словно голодные собачонки, стояли напротив, прислонясь к стенке, испытывая мучительные

позывы в пустом желудке от запахов, шедших со стола, не в силах отвести глаз, смотрели им в рот. Хозяева не обращали на нас внимания.

Поев и напившись квасу, перекрестившись перед иконой, старик валился на кровать, начиная храпеть еще не коснувшись подушки. Старуха убирала посуду, собирала объедки для скотины. Мы настырно продолжали стоять. Наконец, прибрав все на столе, на загнетке, она отрезала нам по клинышку шанги.

Поспав часок, старик вскакивал и бежал на конюшню.

Иногда в нашем с Игорем присутствии он высказывал свои политические убеждения: Сталин – дурак, Дитер – умница, молодец, он разгонит колхозы. Старуха строго пресекала столь безрассудный оппортунизм:

– Стювайся!

Понятно, что Дитер в произношении старика – это Гитлер. Он так надеялся на него, лелея мечту избавиться от ненавистного колхоза.

Колька не забывал обо мне. Во время нашего бегства от войны на одной из станций я нашел резиновую противогазную маску. Кольке эта маска не давала покоя. Зачем она была нужна ему? Просто так. Ему хотелось, чтобы она была у него, как вещь, какой в деревне никто не имел. Конечно, из нее можно было сделать отличные рогатки, но нет, он просто хотел ею владеть. И он не переставал увиваться возле меня, предлагая различные варианты для обмена. Одурачить меня было не трудно, и вскоре маска оказалась у него. Получив взамен пару крючков, грузило, поплавков, я начал прилаживаться к рыбной ловле. Колька усовершенствовал удочку, которую наладил мне Юра, отрегулировал грузило, поплавков, нацепил другой крючок. Я стал ходить с нею на пруд, но рыба у меня не ловилась.

Первого сентября я пошел в школу. Это был большой по деревенским понятиям дом – новый и еще недостроенный. Снаружи и внутри он радовал глаз свежеструганной древесиной, стоял в середине нашей верхней слободы. Ученики от первого до четвертого класса все вместе сидели в одной комнате, в которой занимали только половину ее. Учитель был один – невысокого роста, лет, может быть, сорока пяти, постоянно раздраженный, оттого, видимо, что презирал учеников и свою миссию. В школу ходили дети из соседних деревень, в том числе из удмуртской деревни. Дети-удмурты отличались от русских. Девочки носили длинные платья или сарафаны из тканей домашнего производства с цветастым орнаментом. Они были тихие, скромные, старательные. Мальчики внешне не отличались от русских, но тоже были скромные и старательные в учебе. Им она давалась труднее, так как они недостаточно владели русским языком. Пребывавший в дурном настроении учитель, проходя рядами парт, заглядывал в тетрадки учеников. Остановившись возле одного, он обращал внимание, что тот пишет куцым огрызком карандаша.

– Что это такое?! – вопрошал он патетически, поднимая над головой ничтожный сей инструмент, и заключал: – Заткни его в задницу!

После чего швырял карандаш куда-нибудь в угол.

В следующий раз, останавливаясь возле того же ученика, обращался к нему с тем же пафосом:

– Что ты тут намарал?

Затем вырывал из тетрадки листок, комкал его и выдавал следующий педагогический совет:

– Возьми, подотрешь задницу!

Скоро, однако, учитель исчез. Говорили, будто он украл колхозный баян, патефон, что-то еще. Больше о нем мы ничего не узнали.

Сразу после этого школу перевели в избу, которая была школой прежде, из-за того что большое недостроенное помещение трудно было бы содержать в зимнее время в тепле.

Старая школа была простой избой, посреди которой стояла русская печь. Изба делилась на две половины с партами и классной доской на каждой из них. Я стал учиться во втором классе.

Здесь было уже две учительницы. Они вели занятия по очереди. Когда занималась одна, другая в это время спала или просто лежала на печи: вставать было некуда. Ученикам было слышно, как она ворочалась, вздыхала, зевала. Учительница, проводившая урок, позанимавшись на одной половине, переходила на другую. Открытый проем между ними позволял видеть и слышать все, что происходило и там, и там.

Дома в это время хозяева соорудили большую плоскую поверхность, на которой разложили мокрую мешковину или рядно, равномерно рассыпав на нем рожь. Зерно через некоторое время набухло, потемнело и проросло. Из любопытства я попробовал его: оно было сладковатым. Потом зерно было убрано, а в подполье начался какой-то процесс. Улучив минуту, когда дома не было никого, я спустился туда и увидел некое сооружение, огонек, стеклянные трубки. С конца одной из них в какую-то посудину капала бесцветная жидкость.

Старик стал чаще появляться дома и, когда не было старухи, кидал в пространство:

– Погляжу-ко, как сохраняется картошка.

Сам в это время брал с поставца рюмку и спускался в подпол. Через некоторое время вылезал оттуда, кричал удовлетворенно, произносил с чувством:

– Эх, хороша кумышка!

С приходом холодов в избе поставили железную буржуйку. Топливо для нее доставлял я. На порубке набирал толстых смолистых сучьев, которых было там сколько угодно. Точно так же брал две охапки под мышки и все это тащил домой сначала по мерзлой земле, потом по снегу, каждый раз все более глубокому. В лабазе рубил эти сучья, заносил в избу, к печке, и после весь вечер их жгли, наслаждаясь пышущим от нее жаром. Наступали часы блаженства, умиротворенности, мирных бесед. Разговаривали мать, хозяйка и Вера – еще одна квартирантка, лет двадцати пяти – тридцати, родом из другой деревни, работавшая в артели ткачихой. Хозяйка, нащепав загодя лучины, при свете ее сучила пряжу или вязала носки, варежки. Лучина вставлялась в железный зажим, горящие угольки от нее падали в посудину с водой. Старик не участвовал в разговорах. Используя кочедык и колодку, в отвесах, падавших от печки, плел из лыка лапти, и мне было интересно наблюдать, как он это делал.

К утру избу выдувало так, что вода в ведре покрывалась льдом, который оставался плавать там до самого вечера, пока не начинали снова топить буржуйку.

Но вот заболел наш старик. Плохо ему стало. Он перестал ходить на конюшню, лежал в постели. Как раз в это время по ветеринарным делам в деревню заехала Надежда Николаевна. Она осмотрела старика и твердо велела не употреблять острой пищи – квас, редьку, лук, хрен.

На другой день, когда дома не было никого – мы с Игорем не в счет, – больной встал с постели, налил миску квасу, натер редьки, хрену, накрошил луку. Старика можно понять: ему этого очень хотелось. В тот же день с ним случился ужасный припадок. Его захватили страшные корчи, сознание выключилось, он изгибался и дергался, как бесноватый, храпел, изо рта шла пена.

Хозяйка, мать и я бросились к нему. Он едва не оказался на полу. Мы навалились на него. Некоторое время он бился под нами. Потом внезапно и сразу затих, выпрямился, храпел каким-то нечеловеческим храпом и, быстро перестав храпеть, провалился в глубокий сон. Недолго поспав, он очнулся, ничего не помня о произошедшем.

Так стало повторяться по несколько раз в день, и очень скоро он умер.

Перед смертью он сделался тихим и кротким, позвал по очереди всех, кто были в избе, кроме нас, детей, попросил у каждого прощения.

– Прости меня, Васильевна, – сказал он и матери.

После этого тихо отошел в мир иной.

Дальнейшее поразило не меньше. Внезапно заголосила с причитаниями Вера:

– А что ж ты это сделал, Ликандрович, а пошто ты это такое сделал!? На кого ж это ты нас покинул, на кого всех нас оставил?!..

Вера, не очень любившая и хозяйина, и хозяйку, вдруг обнаружила такое переживание по умершему, в то время как сама хозяйка, самое большое, утерла скупую слезу. Еще больше удивило то, как Вера так же сразу, как и начала, оборвала свои причитания и тут же повела себя и заговорила совсем обыденным образом. Тогда я не понимал, что так исполняется ритуал народного обряда.

В тот час на дворе разыгралась страшная непогода. Снегу и так уже навалило столько, что в прокопанных проходах человек скрывался с головой, но едва старик опочил, природа пришла в настоящее бешенство. Снегопада не было, день был солнечный, но пошла такая завируха, что и вытянутой руки даже не было видно, и солнце угадывалось в небе только мутным пятном.

Покойника обмыли, обрядили, положили на столе, головой к образам. Хозяйка засветила лампадку. Из деревни пришла старушка читать над усопшим Псалтирь. Старушонка путалась, запинаясь, голос дребезжал, был чуть слышен.

К похоронам погода утихла. Гроб поставили в сани, там лежал и крест, сработанный из довольно толстого бревна. И покойника повезли на погост.

На поминки пришло столько народу, что заполнили всю горницу. Прежде поминальной трапезы опять читался Псалтирь. Читала на этот раз наша мать. Хозяйка попросила ее об этом, узнав, что она понимает церковно-славянскую письменность. Мать читала громко, четко, нигде не сбиваясь. Поминальщики стояли, обратясь к иконам, крестились, творили поклоны.

Для поминального угощения были приготовлены разнообразные яства – похлебка, варенья, соленья, была, конечно, баранина, пироги, овсяный кисель, булочки с маком, другая выпечка, была и кумышка. Хозяйке помогали Вера, наша мать, кто-то из соседей. Все происходившее мы с Игорем наблюдали с полатей.

Горела керосиновая лампа. Трапеза длилась долго и чинно.

После того как все ушли, хозяйка позвала к столу и нас, и мы наелись всего такого вкусного, о чем не могли и мечтать.

Поминки по тамошнему обычаю собирались потом на двадцатый день, на сороковой, на шестидесятый и через год. Все они происходили по тому же образцу, как и первый раз, и для нас среди нашего голодного существования были как настоящий праздник.

Еще до того, как умер старик, пришла похоронка на Василия. После мобилизации его направили в училище, оттуда через три месяца выпустили в звании лейтенанта. На фронт он попал командиром пулеметного взвода и в первом же бою погиб. Не помню, чтобы хозяйка как-то заметно выражала свое горе. Это была сильная женщина, настоящая крестьянка. Земля и труд кормили ее, они же питали ее дух.

Мать приносила мне подшивки газет, кажется, это были «Известия», я читал все, что печаталось о войне. А в конце осени или в начале зимы в деревне произошло странное брожение. Еще был жив и даже не болел наш хозяин. В школе вдруг ученики разрисовали мелом, где только можно было, фашистскую свастику. Нарисовали на собственных валенках, на рукавах. Кажется, именно в это время хозяин наш особенно часто объявлял Сталина дураком, а Дитера умницей. Потом как-то вдруг все фашистские знаки исчезли. Думаю, это произошло, когда и Москва, и Советский Союз переживали роковые дни сорок первого года. Наивные крестьяне, которых изнасиловала советская власть, надеялись и ждали, что Гитлер освободит их от колхозов.

В деревне у меня завелись знакомства. Я стал бывать в некоторых избах, из которых ближе всех была соседняя с нами изба Прокудиных. Там жили Ленька и Галка, с которыми я учился, были у них еще и меньшие дети.

Прокудины жили беднее нашей хозяйки. На окнах у нас стояли горшочки с геранью, которая постоянно цвела. На стенке, противоположной красному углу горницы, отгораживавшей кухню, висел поставец в виде затейливо застекленного шкафчика. Штукатуренные и побеленные стены придавали избе опрятный вид. В кухне тоже были цветы, стол там был покрыт клеенкой. Печь располагалась так, что ее можно было обойти вокруг. Наверху она была обложена брусом, для того чтобы на ней можно было сушить зерно. В узком проходе из кухни между стеной и печью стояли ведра с водой, лохань для помоев. Здесь была устроена лесенка на печь. Под лесенкой находился люк в подполье. Брус и лесенка были покрашены охрой, имели приятный вид. У Прокудиных же, кроме такой же буржуйки, в горнице были только дощатый стол да лавки вдоль голых, нештукатуренных стен.

Галка показывала фокусы, суть которых сводилась к обману, в результате чего мне что-нибудь засовывали в рот или выливали на голову воду.

Ленька был вроде товарищ, однако сомнительный. Летом помог мне поставить па пруду перемет, но когда на другой день я поехал на лодке проверять, то не нашел его, а увидел потом брошенным на горе. И кто-то из мальчишек сказал, что тот же Ленька и обворовал мой перемет, на который попала пара крупных окуней. Сам же Ленька божился, что он ни при чем.

К Прокудиным раза два приезжал отец, находившийся, как инвалид, на трудовом фронте. Он хромал, у него было что-то с ногой. На деревне ходил слух, что он симулянт, что на ноге он сам сделал что-то, чтобы не взяли на фронт. На побывке он с утра до ночи работал на своем подворье, поднимал огромные тяжести, стараясь сделать как можно больше для дома. Соседи все это примечали.

Чаще всего я бывал у Демидова Мишки. Изба эта была совершенно чудесным местом, являя собой диво, какого во всей своей жизни никогда больше я не видел, даже не слышал о таком. Когда-то в избе начинался пожар – внутри она обгорела до черноты, особенно потолок, вид имела мрачный, темный, бревенчатые стены сильно закоптились.

В люльке, подвешенной на гибкой жерди, прикрепленной через кольцо к потолку, обретался последний из отпрысков Демидовых. Мишкина сестра, чуть постарше, доглядывала его, он уже начинал ходить. Был и еще один братишка моложе Мишки. Чудо же заключалось в неисчислимом количестве тараканов, которым здесь было привольное житье, – мириады рыжих прусаков. Им уже не хватало места – они ходили друг по другу. Стены, лавки, стол, подоконники, потолок шевелились и мерцали от их непрерывного движения. Изредка среди них попадались белые – альбиносы. Посреди избы здесь тоже стояла буржуйка. Мы развлекались тем, что поджаривали на ней тараканов, а иногда Мишка собирал их в какой-нибудь коробок и устраивал показательную казнь.

Из горницы был ход на другую половину избы. Там не было пола, и на соломенной подстилке содержался только что народившийся теленок.

Демидов-отец был председатель колхоза, а все Демидовы отличались тем, что были феноменально спокойные, уравновешенные люди. Когда они садились есть (по-тамашнему «исть») вокруг большой миски, из которой каждый доставал похлебку деревянной ложкой, тараканы к этому времени облепляли все, что было на столе. Их было уже полно в самой миске, в ложках, на ломтях хлеба. И каждый из едоков спокойно извлекал из ложки этих квартирантов, отбрасывая в сторону, не причинив им вреда, невозмутимо продолжая трапезу.

У Мишки я первый раз курнул табаку. Табак отец Демидов заготовливал, конечно, для себя, держал его в большой банке с плотной крышкой. Мишка пробовал баловаться, попробовал и я, но мне не понравилось.

Интереснее всего было у Пойловых, мать которых работала сторожихой в артели. Там в нашем распоряжении находилась вся ее территория, все строения и всякие укромные уголки. Валентин, старший из двух братьев, тоже года на четыре старше меня, широкоплечий и добрый, как это бывает с людьми, обладающими большой силой, спокойного нрава, умелый, любил

вырезать из липовой древесины красивые пистолеты и самолеты. В стволе пистолета прожигал каленым прутом отверстие, после чего с помощью резинки из него можно было стрелять горошинами. Так же хорошо у него получались самолетики, которые он делал с одним или двумя пропеллерами, ровно жужжавшими на ветру. Он занимался этим в бондарной мастерской, где все оставалось нетронутым в том виде, как в день, когда бондари ушли на войну.

Некоторые свои изделия Валентин раскрашивал в красный цвет, для чего в бутылку с водой крошил стержень цветного карандаша, который растворялся там через несколько дней – это и был необходимый краситель. Мне он тоже сделал и пистолет, и самолет. Настоящим его занятием и обязанностью был уход за артельскими лошадьми.

Артель имела три лошади: уже упомянутую Дочку, ранее принадлежавшую колхозу, серую в яблоках кобылку и престарелую гнедую клячу. Смотреть за лошадьми помогал младший брат Анатолий, совсем другой, чем Валентин – подвижный, беспокойный, озорник. Летом лошадей выводили куда-нибудь попать. Составлялся конный отряд. Валентин садился на Дочку, Анатолий на серую, мне доставалась кляча. Дочка горячилась, норовила сбросить Валентина, но это ей не удавалось: Валентин был отличный наездник. Серая под Анатолием шла спокойно и послушно. Бедная моя кляча, на костлявом хребте которой я сбивал до синяков свой зад, могла только влачиться тихим шагом. Братья легко гарцевали на своих лошадях, в то время как я далеко отставал от них.

С братьями Пойловыми мы ловили рыбу в верховье пруда, илистом, заросшем чернопалками. Глубина воды от поверхности ила составляла всего сантиметров пятнадцать, и место это облюбовали довольно приличные окуни. Их было очень много. Они стремительно маневрировали, ускользая от нас, но, останавливаясь в воде, которую мы замутили, высывались из нее спинкой и, не видя нас, становились легкой нашей добычей. Братья наловили чуть ли не два ведра, да и я добыл не менее половины ведра прекрасных окуней.

Помимо производства, которое располагалось в нашей деревне, артель имела промысловое предприятие километров за двадцать, на реке Вала. Там заготавливалась липовая древесина для бондарных работ, драли лыко, вымачивали мочало. Иногда мать ездила туда, а зимой уезжала на целый месяц в Ижевск с бухгалтерским отчетом. Тогда я оставался главным в нашей семье. Хозяйка предоставляла мне чугун, в котором я варил картошку в мундирах, предварительно вымыв ее в ледяной воде. Это была наша еда. Хозяйка никак не вмешивалась в наши дела. Мы целиком самостоятельно устраивали нашу жизнь.

По возвращении матери хозяйка топила баню. Топилась она по-черному, каменкой, сложенной из крупных булыжников. В предбаннике, представлявшем простую оградку – подобие плетня без крыши, – прямо на снегу мы и раздевались, и одевались, напарившись и помывшись. Во время мытья на окошечке тускло светила окутанная паром керосиновая коптилка. В отсутствие матери на нас нападали вши, помыться в бане было величайшим блаженством.

Из Ижевска мать привозила подарки: детское домино, где на дощечках вместо обычных глазков были изображения разных зверей; еще она купила нам целое стадо: по две фарфоровые фигурки лошадей, коров, овец, свиней, с ними – собака и пастух. Фигурки были небольшого размера и очень симпатичные. Среди холодных и голодных дней они развлекали нас. Привезла она и толстый журнал «Пионер» – очень интересный, из которого я потом читал рассказы, сказки, стихи. В памяти осталось про Язона из древнегреческой мифологии и «Сказка о потерянном времени».

Перед сном, когда мы укладывались на полатах в жарко натопленной избе, мать рассказывала потихоньку разные истории, содержание прочитанных ею книг, а по возвращении из Ижевска – о фильмах, которые она посмотрела там. Говорила и всякое другое, то, что видела или узнала за время поездки, например про трупы замерзших людей на улицах.

Зимние дни, когда не было других дел или стояли сильные морозы, мы проводили на печи. Большим удовольствием было, когда хозяйке привозили для просушки колхозное зерно:

рожь, пшеницу, ячмень, овес. Зерно на печи нагревалось, и было славно погрузить в него хотя бы спину. А самая большая удача бывала, если привозили горох, которым мы еще и лакомились. Хозяйка же подавала голос, чтобы мы не слишком этим баловались, так как существовали нормы усушки, которые мы могли превысить.

Зимой печь топилась дровами из сберегаемого запаса. Буржуйку топливом обеспечивал я. Притащить сучьев за один раз я мог не более чем на две топки, поэтому, не взирая ни на какие морозы, должен был делать это постоянно. Морозы же достигали порой едва ли не пятидесяти градусов, и в таком случае спасало лишь то, что при этом устанавливалось абсолютное безветрие.

Позже у меня появились лыжи, с ними было уже удобнее. Я и рубил доставленные сучья, и пилил на козлах толстые бревна, и колол их. Однажды отскочивший сук врезал мне так, что из глаз посыпались искры. Глаз, к счастью, не пострадал, но синяк был преогромный.

Зато вечерами, когда топилась печурка и в избе становилось, как в Африке, было невероятным блаженством ощущать свое разомлевшее тело в этой жаре после целого дня леденящей стужи.

В лунную ночь хозяйка не жгла лучину, садилась возле окна к луне и так пряла свою пряжу. Женщины рассказывали разные истории. Игорь держался возле матери. Я нарезал из картофеля, предварительно вымыв их, пластины, клал на железную поверхность печки, где они быстро поджаривались, и лакомился ими.

При полной луне ночи были необыкновенно светлы. Поле за окошком искрилось морозными огоньками. Каждую ночь примерно в километре или даже меньше через него то и дело скакали зайцы, иногда пробегали волк или лиса. Волчьи следы величиной с лошадиное копыто, подходившие к самой деревне, я видел, когда ходил на порубку за сучьями. Однажды, видимо ближе к весне, под самым нашим окном двое хорошеньких зайчишек затеяли игру, танцуя, прихорашиваясь друг перед другом, было настоящим чудом наблюдать их так, на расстоянии протянутой руки. Неужели они не видели нас за окном? Или, быть может, специально для нас устроили этот спектакль?

На всю деревню была одна собака, лайка, которую звали Моряк, умница и красавец с острыми ушками. Волки выкрали его и сожрали с волчьей свирепостью, растерзав бедного пса на пруду. Покрытый снегом пруд имел ровную поверхность, на которой остались жуткие следы кровавой вакханалии. Бедного пса рвали, видимо, с двух сторон, и в снегу, истоптанном волчьими лапами, образовались кровавые борозды.

В начале марта морозы ослабли. Снег в поле покрылся плотным настом, по которому здорово было катиться на лыжах, а можно было и просто ходить, не опасаясь провалиться в глубокий сугроб. Лыжи у меня были широкие, удобные для езды по рыхлому снегу, только некрашенные, чистой белой древесины. Тащить сучья по насту на лыжах было легче и удобней.

В марте небо стало синим-синим. Стояло столь характерное для этих мест безветрие. Солнце сверкало от зари до зари. Сверканье и снежная белизна слепили глаза.

Конец первой зимы ознаменовался редчайшим и удивительным природным явлением. С вечера, когда ложились спать, сугробы на деревне были выше человеческого роста. Ночью случилась ужасная гроза с ливнем. Яростные молнии блистали одна за другой. Раскаты грома с устрашающим треском ломали небо над самой крышей. Всю ночь бушевали адские силы, а когда наступило утро и взошло солнце, от сугробов, заваливших деревню до самых коньков, не осталось ничего. Лишь кое-где в углублениях оставались еще грязные их клочья. И небо было другое – доброе, ласковое, уже нехолодное. А там, где ночью неслись бурные потоки, образовались глубокие промоины.

Наступила пахотная пора. На поле за нашей избой привели лошадей, привезли плуги, бороны. Собрался народ, мальчишки. Было праздничное настроение. Крестьяне были

радостно возбуждены. Поле вспахали борозду за бороздой. Они легли ровными рядами шоколадного цвета. Перелетая по ним, грачи выхватывали из земли толстых розовых червей.

В полдень пахари остановились, распрягли лошадей. Мальчишки сели на них и погнали на конюшню. Они делали это постоянно и привычно. Мне тоже хотелось прокатиться на лошади, хотя до этого я еще и на артельной кляче не сидел. Меня посадили на гнедую лошадку, которую звали Гранаткой. Я повел ее шагом, еще не решаясь подгонять, а когда проезжал мимо Колькиной избы, он вдруг выскочил со двора и, злорадно смеясь, начал хлестать Гранатку прутом, рассчитывая, что я не удержусь, когда она поскачет. Предвидя такой оборот, я сполз с лошади на землю, а Колька хохотал. Однако я зря испугался. Гранатка была умная лошадь. Когда Колька начал хлестать ее, она остановилась как вкопанная, сердито прядая ушами. И сколько он ее ни бил, не двинулась с места. Я взял ее под уздцы и повел: взобраться на нее снова сам я не мог по своему росту. После этого я ездил и на других лошадях. Запомнилась еще Зинка, такая же кляча, какая была в артели, только вороная, с таким же ужасным хребтом, от которого долго болел мой зад.

Вспаханное поле засеяли и забороновали. Постепенно потом оно стало зеленеть. Посев делался гуще, выше, рожь наливалась зерном.

Первый год был особенно голодный, все время хотелось есть. Основным продуктом нашего рациона была картошка, которую мать покупала у хозяйки, и то небольшое количество муки, которую выдавали в артели. Когда я спускался в подполье посмотреть на производство кумышки, я видел там хозяйские запасы картошки, моркови, свеклы, репы, большую корчагу, полную яиц, чан с ряженкой и чан с простоквашей. С осени по периметру горницы и кухни вдоль стен висели плети прекрасного золотистого лука. В амбаре хранилось всякое зерно в мешках. Денег у нас не было, чтобы купить, поэтому мы могли только созерцать все это богатство. А когда у хозяйки что-нибудь портилось, тогда она угощала этим нас.

Интересным событием было то, как хозяйка пекла хлеба, шаньги, пироги. Вкушать от этого редко приходилось, но было удовольствием наблюдать, как замешивалось тесто, потом оно поднималось в квашне, пытело, потом хозяйка раскатывала колоб, обсыпала мукой, клала его в деревянную форму в виде круглой чаши. Потом из чаши перекладывала на широкую деревянную лопату и помещала в вытопленную и выметенную печь. Какой же получался хлеб! Какой от него шел аромат! Какой дух! Для шанег хозяйка заготавливала толстые лепешки величиной с большое блюдо, делала в лепешке углубление, которое заполняла картофельным пюре, замешанным на молоке. Пироги пекла с морковью и со свеклой. Нам с Игорем давала по пирогу – особенно вкусны были со сладкой свеклой, – давала и по клинышку шаньги. День, когда хозяйка пекла пироги, для нас был днем больших ожиданий и надежд. К сожалению, это случалось нечасто.

На тамошних пастбищах коровы нагуливали очень хорошее молоко – вкусное, высокой жирности. Его отстаивали в глиняных кувшинах, так что сверху получался толстый слой сметаны. Потом кувшины ставили томиться в протопленную печь. Получались топленое молоко и топленая сметана. Сметану с поджаристыми пенками хозяйка собирала в большую стеклянную банку. Она была необыкновенно вкусна и очень соблазнительна на вид для нашего постоянно пустого желудка. Однажды тайком Игорь попытался полакомиться ею. У него, однако, ничего не вышло, он был разоблачен и пристыжен.

В том краю прекрасно рос всякий овощ: огурцы, морковь, свекла, репа, капуста, лук. Тыквы достигали огромных размеров, но совершенно не было умения выращивать помидоры. У нашей хозяйки они буйно разрастались на грядке целыми джунглями. Плоды в этих зарослях были мелкими и никогда не вызревали. В конце лета хозяйка собирала их зелеными и клала в сено. Большая охалка такого сена лежала выше печки, у стены. Там эти помидоры находились так долго, что уже давно шла зима, а они только морщились и чуть розовели. Признаюсь, потихоньку я воровал их.

Пришлось полакомиться и малосъедобными яствами: есть хлеб с семенами клевера, хрустевшими на зубах, как песок, черные, словно уголь, лепешки из лебеды. Но самыми мерзкими были изделия из льняного семени. После таких сушек, когда я наелся их с голоду первый раз, меня жестоко вырвало. И уж потом при самом сильном голоде я не мог переносить даже их сладковато-приторного запаха.

Но были еще и лакомства. Зимой молоко заливали в специальные корыта или большие миски, выставляли на мороз, и, когда оно замерзло, его строгали специальным скребком, стружку собирали в горшок и сбивали мутовкой до состояния густой сметаны. К этому времени пеклись пшеничные оладьи. Сковороду ставили в печь, к огню. Готовность оладий происходила в момент, когда они вздувались пузырем. Тогда их сбрасывали в миску и тотчас ели с мороженым молоком. Горячие оладьи и густое холодное молоко – это было потрясающе вкусно!

Кое-какое пропитание давала окружающая природа. Как только сходил снег, в местах, которые были известны, можно было выкопать из земли «пистики» – тугие шишечки хвошей. Перед тем как выйти из земли, они имели некоторый вкус, скорее были безвкусны, но не противны, и питательны, а через день-два после того, как выходили на поверхность, они становились рыхлыми, сухими и уже не имели съедобной привлекательности.

Летом шли ягоды – земляника, малина. Малинника были целые заросли, особенно по склонам оврагов-логов. Чаще всего малина росла, перемежаясь с крапивой, и было еще много огромнейших муравейников. Некоторые из них достигали размеров прямо-таки египетских пирамид. Муравьи были рыжие, крупные, кусачие. По малину нужно было идти в лаптях с онучами, чтобы муравьи не забрались на голое тело.

Потом шли грибы. Так как в округе не было ни сосновых лесов, ни березово-осиновых рощ, а только ель да пихта, соответствующими были и грибы. Белых, подосиновиков, подберезовиков, маслят не было. Самыми ценными грибами были груздь и рыжик. А однажды случился небывалый урожай на опята. На той же порубке возле одного только пня можно было набрать их сразу целый короб – крепких, замечательных. И многие ходили по опята с большим коробом за плечами, на лямках. Росли там еще удивительных размеров дождевые грибы. Их, конечно, не собирали для еды, но когда мимо нашей избы из соседней деревни в школу шли ученики, многие из них несли на голове белый дождевик величиной с порядочную тыкву.

Яблоки, груши, вишни в той стороне не росли. Не было там ни смородины, ни крыжовника. Фрукт произрастал только один – черемуха. Ее не ломали на букеты, и она вырастала деревом величиной с тополь. На усадьбе нашей хозяйки, построенной в недавнее время, были только небольшие деревца, а по деревне, перед каждой избой, через дорогу, которая делила усадьбу на две половины, росло много высоких старых черемух. Во время цветения от них шел сильный дурманящий дух, они гудели пчелами, и это было очень красиво.

Добрая старушка однажды предложила мне полакомиться своей черемухой. У нее было два или даже три особенно больших дерева. Я тут же забрался так высоко, как смог. Там среди ветвей и гроздьев крупных черных ягод я съел их столько, что оскомину пришлось соскребать с языка ногтями.

С деревенскими мальчишками я ходил на Нышу – красивую речку километрах в четырех от деревни, купался в пруду, там же научился плавать, рыбачил, хотя не слишком успешно, ходил по грибы.

Однажды большой компанией пошли за грибами в отдаленные леса, а когда собрались идти назад, все мои спутники завернули в какие-то деревни, где у них была родня, и я остался один в незнакомой местности. Когда меня покидал последний компаньон, я попросил показать, как мне идти, и он указал дорогу, которая вскоре стала поворачивать чуть ли не в обратную сторону, потом раздвоилась, опять куда-то свернула. Я остановился в недоумении. Куда идти? Спросить не у кого. Вокруг ни души и никакого селения. К счастью, это был не лес, а поле, к тому же осеннее, открытое. Я интуитивно взял направление и пошел, не сворачивая с него,

не обращая внимания ни на какие дороги. И, как ни странно, после длинного перехода вышел точно в расположение артели.

Постоянной дружбы у меня не было ни с кем. К нам, эвакуированным, относились насмешливо и равнодушно, дали нам кличку «выкавыренные» и особенно упорно дразнили «москвичами». Я объяснял, что мы никакие не москвичи, но, наверное, хотелось видеть именно москвичей в униженном, бедственном положении. В крестьянском мозгу крепко засело, что все неприемлемое, навязанное деревне, шло из Москвы.

В компаниях тон задавали старшие ребята, меня они просто не замечали, я был всегда немного в стороне. Но с некоторыми моего возраста и моложе мы проводили время в каких-то затеях, чаще всего в расположении артели, где были в разбросе разные строения и всякие интересные места. Сюда я брал с собой Игоря. Здесь мы затевали какие-то игры, бродили, что-то выискивали, высматривали, заходили в бондарную мастерскую, заглядывали к ткачихам, многие из которых были молодые девушки, шутили с нами. Здесь работала и Вера.

На артельской территории под открытым небом оставались два или три больших чана высотой метра два, полностью готовых, однако не востребованных. В сарае, набитом тюками мочала, мы лазили между ними, лежали на них, вдыхая мочальный дух, прятались здесь от дождя – почему-то это тоже было интересно.

Вблизи от скотного двора стояли огромные, длинные скирды соломы, в которых мы проделывали норы, устраивали там гнезда, наслаждались сумраком, теплом, которое держалось там даже в холодные дни.

Игорь подрастал. Он имел свой круг общения, в основном в семействе Прокудиных, где были дети, подходящие его возрасту. Однажды зимой, в мороз – мать в это время была в Ижевске, я уходил в школу, – чтобы он не ушел из дома, я спрятал его одежду, обувь, но он все-таки убежал к тем же Прокудиным босиком, по снегу, в одной рубашонке. Конечно, ему было тоскливо сидеть в одиночестве в холодной избе, хотя и на печи. Как ни странно, после этого случая он не заболел. Летом я брал его с собой в лес или на пруд. Мы заходили и к матери. В своей конторке чаще всего она была одна. Ей хотелось что-нибудь нам показать, чем-то развлечь, но ничего интересного не было.

Дрова, которыми я обеспечивал избу, не устраивали хозяйку, так как для нормальной топки нужны были полновесные поленья. Я же притаскивал в основном тонкие жерди, которые быстро прогорали, давая мало тепла. Тогда хозяйка одолжила на деревне двуколку, почти такую, в какие запрягают лошадь – с большими колесами и длинными оглоблями, скрепленными в конце их перекладной, – покрашенную в черный цвет. На телеге я стал возить толстые бревна, часто такие, что трудно было их поднять и уложить. Я накладывал столько, сколько могло удержаться, не скатываясь через высокие борта тележки.

Вот я вывожу свою телегу из лабаза, выезжаю за околицу. Дорога сразу заходит в рожь. Она не колышется и не шумит, и, однако, над полем стоит тихий, чуть слышный звон. Я скрываюсь во ржи с головой. Солнце печет голову, лето, чудесные дни...

Добравшись до порубки, съезжаю с дороги. В лесу зной, кажется, сильнее. Выбираю такое место, где можно поближе подтаскивать пригодные бревна. На этот раз решаю взять бревно, которое уже давно держал на примете, длинное, толстое, тяжелое. Ставлю телегу так, чтобы оно оказалось между оглоблями, тяжелым концом ближе к кузову телеги. Начинаю поднимать – тяжело! Все же держу, не опускаю, тащу. Дотягиваю, кладу конец бревна на край кузова, отдыхаю. Медленно, но все-таки укладываю его, и опять отдыхаю, спешить нет нужды.

Но вот телега загружена.

Ехать с таким грузом по травянистой поверхности, а потом по дороге на подъем непросто. Только когда дорога начинает идти с небольшим уклоном, становится легче.

Загрузив телегу, не спешу тотчас же трогаться в обратный путь, долго валяюсь на траве, сливаясь с природой и глядя в небо. Могучие ели надо мной с величавым спокойствием шеве-

лят косматыми лапами. Тихий шум наполняет лес, иногда делаясь слышнее, часто замирая совсем. На многие версты вокруг ни души. Суровые эти исполины хранят покой заповедного края. Солнце и небо, на котором ни пятнышка, ни облачка, ни какой-нибудь даже птицы, простираются над ним. Тогда возникало чувство, о котором нельзя рассказать, поднимавшее над бедностью жизни...

Однажды, когда со мной был Игорь и я уже полностью загрузил телегу, неожиданно на косогоре, вблизи небольших елочек, обнаружилась целая россыпь замечательных рыжиков. Взять их было не во что. Оставить до следующего дня нельзя: за короткое время их уничтожат черви. До заката оставались какие-то минуты, светлое время быстро сокращалось. С трудом я выехал на дорогу, кое-как преодолел подъем. Деревня и наша изба были на расстоянии полутора километров, но солнце уже подошло к самому горизонту. Я решил оставить Игоря с телегой, мигом слетать за корзинкой, набрать рыжиков, пока еще было светло, и тогда ехать домой. Но когда изложил этот план Игорю, он заверещал: «Боюсь...». Тогда я предложил: «Ладно, с телегой останусь я, а ты слетай за корзинкой». Но и это оказалось невозможно. Он опять боялся бежать до деревни один, хотя оставался бы все время на виду у меня. Конечно, ему было пять или шесть лет. Пришлось отказаться от этой затеи. Когда на другой день я прибежал пораньше с корзинкой, было уже поздно: все до единого рыжики пали жертвой червей.

Новый год крестьяне никак не отмечали, но в школе елку поставили. Украшения были бедные, однако школьникам были сделаны подарки. Ученики были из разных деревень, и подарки каждый колхоз делал только своим детям. Самый лучший подарок сделали удмурты: каждому ученику дали небольшой каравай прекрасного пшеничного хлеба, на который сверху был положен приличный оковалок засахаренного желтого меда. Всем другим досталась маленькая пшеничная булочка. Я не принадлежал ни к какому колхозу, но учительница как-то сумела выкроить булочку и для меня.

На Новый год Вера собралась в свою деревню и позвала меня с собой. Пока я доставал на деревне для нее лыжи, день кончился. Мы вышли, когда солнце погрузилось за горизонт. Стало быстро темнеть. Шли рядом, переговариваясь. Было морозно и, как обычно, безветренно. Но вот впереди показалось что-то темное. Мы остановились. Разглядеть нельзя было, волк это или что? Двинувшись по долгу мужчины к темному предмету и подойдя, я увидел, что это всего лишь деревце елки.

Наступившая ночь была безлунной, блистали звезды. Вера шла тяжело, медленно. Разгоняясь, я убежал далеко вперед. Опередив ее намного, я заметил, что местность справа имеет плавный, пологий склон. Ради удовольствия, пока Вера догонит меня, я покатил по нему, и внезапно, не разглядев скрытые ночным мраком очертания рельефа, полетел в овраг, крутизна и глубина которого были такие, что преодолеть их обратным порядком было невозможно. Я понял, что попал в западню. Падая в сугроб, я не ушибся, но как вырваться из ловушки? Вера, конечно, не видела, куда я делся. Кричать было бесполезно, моего голоса она не услышит. Да если бы и услышала, как она могла помочь мне? Я бросился бежать по оврагу, рассчитывая, что, может быть, крутизна понизится, и, к счастью, предположение мое оказалось верным. Овраг действительно стал мельче, берег сделался положе, преодолев его, я обрел свободу.

Обеспокоившись моим исчезновением, Вера звала меня. Из оврага ее не было слышно. А дальше я уже не уклонялся от нашего пути.

Мы еще долго шли полем, пересекли край леса, где в стороне, метров за двести, увидели большой костер, возле которого стояли какие-то люди. Мы не подошли к ним. Они не окликнули нас, и мы прошли мимо них. Так мы пришли, наконец, к Вере домой. Встретили нас мать Веры, брат и сестра, оба моложе ее. Печь топилась, несмотря на поздний вечер, и меня накормили горячими оладьями с мороженым молоком.

Утром Вера повела меня в здешнюю школу, которая была больше нашей, да и деревня была значительно больше. Ёлку в школе украшали маленькие вязаные носочки и варежки,

маленькие коробочки из лыка, лапоточки, другие предметы крестьянского обихода, сделанные в миниатюре. На ветках также красовались те самые сушки из льняного семени, столь мерзкие для меня, другие подобного же рода кондитерские соблазны. Возле елки было грустно и скучно.

Флегматичный и медлительный Демидов был неглупый и совестливый человек, голову имел большую, волосы негустые, с проседью. Внешне он был крупный, широкоплечий, лет пятидесяти, лицо имел умное, крестьянское, ни бороды, ни усов не носил, глаза были озабоченные, усталые, голос негромкий, такой, в котором чувствовались опыт и знание жизни. Отношение к людям у него было спокойное и справедливое. Наверное, через год после того, как мы стали там жить, он принял нашу мать на работу колхозным бухгалтером, хотя на это место претендовал другой человек, мужчина, то ли из города, то ли из соседней деревни. В конце года мать уже получила кое-что на трудодни из того, что производил колхоз. Еще мы собрали некоторый урожай с участка земли, который был предоставлен нам, и с этого времени жить нам стало легче.

В последнем году нашего пребывания в Кочекшуре по результатам работы колхоза Демидов распорядился выдать колхозникам на трудодни полностью все, что им полагалось. Это было нешуточное преступление, наказанием за которое была штрафная рота или лесоповал. Демидов обязан был сдать все до последнего зернышка государству, как это делалось в других колхозах, где люди голодали, ели лебеду и прочие суррогаты. Он пошел на это сознательно, и только в виду возраста его отправили не на фронт, а на какие-то работы. Думаю, на такие, где ему дали в полной мере почувствовать, что так шутить с советской властью нельзя. Да и время ведь было какое...

Тогда же по распоряжению Демидова была забита свинья. Из нее наделали пельменей, которые потом распределили между колхозниками по трудодням. Матери на ее трудодни досталось девяносто два пельменя. Получив их, мы съели сколько-то, остальные вынесли в мерзлую клеть, положили там на столе. На этот же стол Вера положила мешочек с мукой, которую получила в артели. А ночью случилось небывалое.

При вечерних посиделках мы вдруг услышали, что возле избы кто-то ходит. Всех нас сковал страх. Такого еще не было с начала войны. Мы не знали, что делать, и всю ночь не спали. Когда же наступило утро, нам, а особенно хозяйке, пришлось пережить настоящее потрясение: дверь в избу оказалась закрыта снаружи через ушки для всячего замка. После долгих стараний завес все же удалось сбросить. Всегда спокойная, уверенная хозяйка в панике бросилась к амбару. Снег возле него был сильно вытопан. Увидев это, хозяйка едва не лишилась чувств. Однако замок оказался на месте. Он был простой, примитивный, но воры не справились с ним. Когда амбар был открыт, там все оказалось в целости.

И все-таки воры поживились, но уже за наш счет и за счет Веры. Сквозь узкое оконце клетки размером в выпиленный кусок бревна были похищены наши пельмени и ее мука. Трудно было понять, как им это удалось: стол с пельменями и мукой, которой было килограммов шесть, находился довольно далеко от тесного окошка, и однако пельмени, как и мука Веры, исчезли вместе с нашими гастрономическими предвкушениями.

Сурова и полезна для здоровья была природа тех мест. Солнечных дней было много и летом, и зимой. Кислой слякотной погоды не бывало. Зима приближалась постепенно и устанавливалась сразу. Морозы бывали весьма крутые и стояли при солнце и безветрии. Снегу наметало столько, что с подъезду деревню не было видно. Летом проходили быстрые грозы и дожди, после которых снова становилось жарко и солнечно.

Как мы были одеты? На себе помню ватную телогрейку на взрослого человека, какую-то рубашонку. Штаны мне пошила мать из своей юбки коричневого цвета. Материал был подобен наждачной бумаге, отчего я испытывал весьма неприятные ощущения. На ногах одно время были валенки, но они прохудились. За то, как я оправдывался перед учительницей, почему не был в школе, ученики стали дразнить меня: «Почему ты не пришел? – Валенцки дзырявые».

Именно так это и звучало: «валенки дырявые». Все чуждое, чужое, особенно городское, а особенно если считалось, что это от Москвы, высмеивалось и вышучивалось. Надо было говорить: валенки худые, прохудились, но никак не дырявые. Потом я ходил в больших рабочих ботинках, с портянками, ходил и в лаптях. Была и шапка-ушанка со свалывшейся ватой за подкладкой. Всю эту одежду где-то и как-то доставала мать.

Как ни странно, простудой мы не болели. Но поболеть мне все же пришлось. На ноге вдруг возник мокрый лишай. Образовался свищ. Боли я не испытывал и потому так и ходил с этим свищем. Было неизвестно, как его лечить. Но вот мы сходили в баню, хорошо вымылись, напарились. А ночью ногу начало дергать так, что я до утра криком кричал. На следующий день мать повезла меня в город. На меня надели полушубок, сверху укутали в тулуп, – все от хозяйки, – я лег в сани, боли уже не было. Сели мать, возчик, и мы поехали в ночь.

Наверное, это была единственная в жизни такого рода ночь: светила полная луна, сияли белизной заснеженные пространства, небо было черно и усеяно какими-то необыкновенными звездами, и были волшебными странными неподвижность и тишина, околдовавшие целый мир.

В лесу с двух сторон дороги, образуя ущелье, встали гигантские ели, будто заколдованные великаны под снежным покровом. Молчание и скованность их при яркой луне и звездном небе были настоящим колдовством. И так чудесно было смотреть на все на это из теплого тулупа, лежа на сене, в санях, плавно скользивших среди безмолвия морозных снегов на укатанной дороге.

В городе остановились у Надежды Николаевны. Приняли нас радушно, накормили борщом с кониной, что было очень вкусно, мне дали большой кусок конины. Надежда Николаевна по должности ветеринарного врача выбраковала здоровую лошадь, которой приписывалась несуществующая болезнь. Лошадь забивали, а мясо расходилось среди участников преступного сговора. Во время голода люди совершали много не совсем хороших поступков. Прости их, Господи!

Жил у них зайчик. Олег что-то сделал с ним, и он перестал расти – остался карликом, хотя был уже взрослый. Крохотный, он передвигался на задних лапках: передние ему отдавили. Как собачка, он стоял перед обедающими, ожидая подачи. Одно ушко у него торчало вверх, другое свисало набок, такой маленький, такой несчастный и грустный.

Мы заночевали. Женщины много говорили, вспоминали. У нас с Олегом, с его братишкой и сестренкой тоже были какие-то дела. Олег показал свои игрушки, дал с собой книжку «Витязь в тигровой шкуре».

Доктор, у которого мы побывали на приеме, выписал мазь, и она помогла.

Учился я уж просто не знаю как. Матери учительница говорила, что я способный ученик, однако моими оценками были сплошь двойки. Учебников у меня не было. Вместо тетрадей использовали детские книжки большого формата с крупным шрифтом, на которых писали между строк. Не помню, чтобы я делал дома какие-нибудь уроки. Тем не менее окончил второй, третий, перешел в четвертый класс. Учеба меня не интересовала. Меня занимали книжки, но достать их было нелегко. В школе, правда, была небольшая библиотека – две полки в шкафу. Я прочел там «Робинзон Крузо», про Гулливера, «Волшебник изумрудного города», «Сказки братьев Гримм», книжки Гайдара, «Белеет парус одинокий», какую-то книгу о японском шпионе, книжку про Амундсена, книжку о шахтерах – что-то похожее на Золя, стихи Маршака, даже книжечку стихов Ломоносова. Продолжал читать в газетах сообщения о военных событиях, прочел тогда «Науку ненависти». Ванька Пасынков дал почитать про Мюнхгаузена.

В клетушке у хозяйки хранился всякий крестьянский скарб. Стоял большой пустой ларь, какие-то сундуки, коробки. На стенах висели хомуты, уздечки, другие части упряжи, пучки засушенных трав. С краю стояла картонная коробка, в которой оказалась стопка дореволюционных журналов «Нива» и какие-то другие. Они были интересны, но открыто пользоваться ими я не решался. Спросить у хозяйки тоже не мог: тогда бы открылось, что я шныряю по

хозяйским закромам, что, конечно, ей не понравилось бы. Но способ нашелся. Изредка хозяйка уезжала в город, чтобы продать на рынке своего крестьянского товару. Уезжала на весь день на санях, которыми правила сама. Я знал примерно, когда она возвращается, и, оставаясь в избе только с Игорем, мог использовать это время с выгодой для себя. Клеть была закрыта на ключ, мне было известно, где он находится. Так я доставал стопку журналов и целый день читал и рассматривал их. В них были напечатаны интересные рассказы и повести. Там я находил такое, о чем знал только кое-что, понаслышке: картины дореволюционной жизни, портреты особ царствующего дома, генералов, вельмож, священнослужителей, виды городов и природы, иллюстрации к общественным событиям, а также репродукции картин знаменитых художников и веселые, юмористические карикатуры.

В одном из журналов целую страницу занимала большая фотография: слева был виден край шоссе, справа начинался лес, от шоссе в лес была положена ковровая дорожка, в конце которой на раскладном кресле сидел Николай Второй. Щиколотка левой ноги его лежала на колене правой ноги, на них он держал ружье. Подпись к фотографии сообщала: «Император Николай Второй на охоте в Беловежской Пуще».

Теперь это удивительно: как мог я в ледяной избе, покинув теплую печку, долгие часы в одной рубашке просиживать за столом с этими журналами возле обледенелого окна?

Но время шло. Малиновое солнце раскрашивало морозный узор на окнах. Быстро собрав журналы, я относил их в коробку до следующего раза, закрывал клеть, вешал ключ на место, забирался на печь к Игорю, который все это время занимался в одиночестве бедными нашими игрушками.

В другие дни, когда в избе оставались только мы с Игорем и у меня не было других дел, мы не слезали с печи, а я пел песни, может быть доставляя этим некоторое развлечение и Игорю. Конечно, я пел «Гремя огнем, сверкая блеском стали...», «Все выше, и выше, и выше...», «Раскинулось море широко...», «Белеет парус одинокий...», «Буря мглою небо кроет...», ямщицкие песни – знал довольно много, не всегда, наверное, полностью и точно, но пел старательно. Тяжелы и скучны были эти морозные дни. Когда же мороз ослабевал, я проводил время на улице, катаясь на лыжах с горы вместе с другими мальчишками. Игорь, как обычно, в такое время уходил к Прокудиным.

Кроме великого множества тараканов, мне довелось наблюдать там еще и великое множество мышей, собравшихся в одном месте. Скирда, которую сложили на поле после жатвы за нашей избой, зимой была свезена на колхозный двор. После скирды осталась подстилавшая солома, и в ней-то, на площади диаметром метров пять или шесть, обнаружилось несметное количество мышей, которые устроили здесь свою зимовку. После того как скирду убрали, оставшаяся солома уже не укрывала от холода, и мыши металась на этом пятачке туда-сюда, не обращая внимания на нас. Их было столько, что они карабкались и бегали друг по дружке. Среди них были и крошечные, только что рожденные мышата, на которых еще не было шерсти, они были похожи на микроскопических бело-розовых поросят. Иногда здесь мелькал и более крупный зверек, похожий на маленькую лисичку, но серой, мышиной, шерсти. Это была ласка.

В лесу с братьями Пойловыми мы что-то искали или просто бродили, и неожиданно Валентин поймал ежика. Я стал упрашивать, чтобы он дал его мне: ежик был такой симпатичный, хотя постоянно сворачивался в колючий клубок. Валентин не отдавал ежика. В то время у меня было откуда-то пять рублей, и он продал мне ежика за пять рублей.

Я принес ежика домой, пустил его на пол, пытался чем-то кормить, но он бегал по избе, норovia где-нибудь спрятаться, и всю ночь шумел и возился, мешая спать. Потому его пришлось выпустить в лес.

А однажды я подобрал в поле раненого канюка. Это коршун – гроза куриного племени. Он постоянно летал над деревней, и, как только куры замечали его, среди них поднималась паника, они прятались со своими цыплятами, где только можно. Тот, которого я подобрал

во ржи, опереньем был похож на рыже-пеструю курицу, но с большими сильными крыльями, хищным клювом и когтистыми лапами. Из-за раненого крыла он не мог летать, сидел во ржи и беспрерывно канючил. Я принес его к избе, посадил под окном, на поле, где была еще неубранная рожь. Не умолкая ни на минуту, он громко кричал, и его тоже пришлось отнести подальше от дома.

На обломанной елке, на высоте метра три, я нашел гнездо канюка. В гнезде были птенцы величиной с цыпленка, в пуху сероватого цвета с желтинкой. Я взял одного из них, принес домой. В это время у нас в каком-то ящике содержались только что вылупившиеся цыплята. Я посадил к ним своего птенца. Он резко отличался от цыплят хищным клювом, забирался к ним на спину, захватывал их крючковатыми когтями, пищал, канючил, пытаюсь выбраться из ящика. Конечно, от меня потребовали, чтобы я убрал своего «цыпленка». Не помню, отнес ли я его назад, в гнездо, но, наверное, он погиб.

Хозяйский кот – большой, полосатый, гладкий – был с причудами: ел огурцы, а на пруду ловил толстых зеленых лягушек, но не ел их, а душил и приносил во двор как бы для того, чтобы похвастаться своим подвигом. Летом мать и Игорь продолжали спать на полатах, я спал в клетки, на полу. Под утро, после ночных прогулок на свежем воздухе, кот приходил ко мне. Специально для него во входной двери с улицы и в клетки были оставлены отверстия. Бодрый, нагулявшийся, хрумкая еще от двери, он бежал прямо ко мне. Я впускал его под покрывало, и уж тут он так изливался, так пел, так был благодарен за то, что я пригрел его возле себя. И так было каждое утро.

Работать в колхозе мать устроилась не в начале года, а ближе к концу, и, когда по результатам работы за год стали выдавать на трудодни всякую натуру, ей досталось не много.

Колхоз имел большую кролиководческую ферму, и среди прочих натурпродуктов колхозникам полагалось еще какое-то количество кролика по весу. Нашей матери начислили двести граммов и дали маленького крольчонка. Оказалось, что нам досталась самочка, и, значит, от нее будут крольчата. Свободная клетка нашлась у хозяйки.

Я стал растить свою подопечную, и скоро из нее вышла очень крупная, заячьего окраса, крольчиха. Я понес ее к женихам. На ферме их было много. Однако произошло совершенно необъяснимое: девушка не пожелала стать женщиной. Она имитировала действия мужской особи, и ни один жених не совладал с нею. Всякий раз она оказывалась наверху, они прямо-таки робели перед нею. На какие ухищрения я ни шел! Все было напрасно! А мне так хотелось иметь маленьких крольчат! Потом она вырвалась из клетки, я долго ловил ее в огороде, наконец, совсем сбежала, отстояв свою девственность. Разочарование мое было неподдельно. Теперь, обогащенный современным опытом и знаниями, могу сказать об этой крольчихе: природа создала ее другой сексуальной ориентации. И, думаю, люди, страдающие таким недугом, должны получить от общества понимание и сочувствие и уж никак не презрение и враждебность. Хотя, прибавлю к слову, этим людям тоже не следует выпячивать, а особенно демонстративно, свою исключительность.

Кроме доставки из леса дров, я привлекался и к другим делам. Наша хозяйка, несмотря на то что по возрасту не обязана была работать, часто выходила на колхозные работы, и ей начисляли на трудодни все, что полагалось. Привозили возами сено, солому, сваливали их во дворе, перед сараем. Я забирался на сеновал, хозяйка снизу вилами подавала мне большие охапки, которые я укладывал так, чтобы пространство заполнялось экономно.

Ездили мы молотить пшеницу. Большой деревянный дом мельницы стоял у реки. Перед нами были помольщики из других деревень. Хозяйка отходила надолго, вела переговоры с мельником, подходила к другим повозкам, я оставался караулить хозяйское добро. Когда подошла наша очередь, мельник понес мешок, лошадь хозяйка оставила у коновязи, мы прошли вслед за мельником. Внутри просторное помещение напоминало большой прибранный сарай, в одной стороне которого, скрытое разными приладами и надстройками, что-то грохотало.

Мельник манипулировал агрегатом, поднялся по лесенке, засыпал зерно в приемник, включил рабочее положение, и мельница заворчала уже другим тоном. Через некоторое время мельник открыл задвижку, из желоба в мешок, который держали мы с хозяйкой, посыпалась нагретая жерновом мука.

Весной, когда коров выгоняли на пастбище первый раз, каждая хозяйка сопровождала свою корову. В первый день они вели себя беспокойно и при недосмотре могли поранить одна другую рогами – бодались, брыкались, кидались бежать. В этот день хозяйка взяла меня с собой, и наша корова взбунтовалась. Мы ухватили ее с двух сторон за рога, но она вырвалась и понеслась прочь от стада. Хозяйка и я бросились за ней. Это была бешеная гонка. Удивительно, что хозяйка в ее годы и при все-таки грузной комплекции выдерживала этот бег, хотя и отставала. Но и я не мог догнать беглянку. Лишиться коровы в крестьянском хозяйстве было настоящей трагедией. И однако, мы упустили и потеряли ее из виду. Бег пришлось прекратить, мы выдохлись, и к вечеру я вернулся домой. Хозяйка пошла уже просто шагом обследовать окрестности и наконец-таки после долгих поисков нашла свою кормилицу. Под самый вечер в каких-то зарослях послышался звон колокольца, который вешают коровам на шею. Буренка тихо стояла там и наверное думала: «Что я, дура, наделала?». Возбужденность ее улеглась, и хозяйка спокойным шагом в сумерках привела ее домой.

Случилось несчастье на подворье самого Демидова. Оно представляло целиком крытый двор. Во время грозы в него ударила молния, тяжелая балка рухнула на корову, повредив ей позвоночник. У коровы отнялись ноги. Ее подвесили на веревках к другим балкам. Собрался народ, соседи искренне скорбели, сочувственно ахали. Бедное животное смотрело, будто спрашивая: «Что же теперь будет со мной?».

С коровами был еще один случай. Пастух погнал стадо на водопой. У берега реки росли деревья, и он не доглядел, как у одной коровы задняя нога застряла в развилке двух стволов. Она, видимо, долго пыталась высвободиться, но сама не могла этого сделать, выбилась из сил, упала головой в воду и захлебнулась.

Добыча и доставка топлива были важнейшим жизненным вопросом. В сарае прислоненными к углу стояли бревна отличного леса, но это был сберегаемый запас: такими дровами топили только печь и только зимой. В зимнее время я мог доставлять лишь сучья для буржуйки. Запас хороших дров нужно было пополнять. Для этого хозяйка брала меня с собой, и мы шли в лес с пилой и топором.

Крутогорье, на котором стояла наша слобода, продолжалось и за околицей. Справа от дороги оно понижалось и летом бывало засеяно рожью. После того как заканчивалось поле, по крутому склону в сторону речки шел лес, состоявший, как обычно, из ели и пихты. На этом склоне крестьяне делали заготовку дров.

Мы отправились солнечным морозным днем. Было обычное безветрие, небо сияло холодной голубизной. Свернув с дороги, прошли до конца поля по насту, в лесу сразу же погрузились в сыпучий снег.

Единственной теплой вещью на мне были большие рукавицы из овчины, которые дала хозяйка. Сама она была в своем полушубке, в нескольких платках и шерстяной шали, в валенках и рукавицах.

В лесу стояла звонкая тишина. Над засыпанными снегом деревьями цепенело бледное небо.

Хозяйка деловито и сноровисто выбирала деревья, несмотря на возраст уверенно двигаясь в глубоком снегу. Пилили, стараясь взять пониже. Она определяла, как и откуда пилить, куда будет валиться дерево. Пилили с одной стороны, потом с противоположной, до тех пор пока, дрогнув, медленно, оно начинало падать. Не торопясь, мы отходили подальше. Огромное дерево, ухнув, трещало ломающимися сучьями, поднимая облако снежной пыли, после чего хозяйка обрубала сучья, привычно и умело управляясь с топором. Бревно распиливали на рав-

ные части, которые определялись хозяйкой кратными размеру пилы. Деревья были ядреные, кондовые, потому тяжелые. Одно такое упало точно по линии крутого ската. После того как хозяйка обрубилась сучья, оно вдруг двинулось всей тяжестью вниз по склону. Хозяйка находилась у вершины, бревно опрокинуло и потащило ее. Она старалась упереться, но сил не хватало, и трудно было изловчиться. Находясь у комля, я схватился за сук, уперся из всех своих сил, и мы остановили наше бревно. Распиленные части потом сложили штабелем. Их пришлось подтаскивать снизу, поднимать, а они были тяжелы. Обрубленные сучья сложили аккуратно в одно место.

Деревню иногда посещали нищие, среди которых были как бы свои – те, что приходили не один раз, которых уже знали. С одним таким парнишкой я даже подружился. Он был худой, очень бледный, с добрым, слабым голосом, плохо одетый, в истрепанных лаптях, с нищенской сумой. Узнав, что я интересуюсь книжками, стал говорить, что дома у него есть интересные книги и он принесет их мне. Я давал ему хлеба, который в это время уже был у нас, и он вдохновенно врал про книги. В следующий раз он говорил, что забыл, но обязательно принесет, когда придет еще. Был он слабый, беззащитный, от его печального лица и тонких бескровных рук веяло чем-то серьезно больным. И хотя я не дождался от него никаких книг, вспоминаю его с сочувствием, представляя, как тщедушное, никому ненужное в мире существо брело в нищенской своей одежке бесконечной и суровой зимней дорогой от деревни к деревне в надежде на жалкую подачку.

Бывал в нашей деревне нищий мордвин, человек уже не молодой, странный, своеобразного облика: у него была очень большая голова и совершенно плоское лицо с узкими глазками. Он пел песню про то, как мылся в бане. Запомнился припев этой песни: «Я мочалком тер, тер, тер, тер...», и далее в том же роде.

Другим, кто несколько раз проходил нашей деревней, был молодой сильный красавец, татарин Соломон. Ему было лет двадцать, хорошего роста, хорошего сложения, имел круглое приятное лицо, чистую гладкую кожу, большие карие глаза, черные татарские брови. Он носил за плечами большую связку изношенных лаптей и суму для подаваний. Деревенские мальчишки обычно празднично не болтались, все были заняты чем-либо у себя дома или в поле. Однако, когда приходил Соломон, к нему сбегалась вся деревня с одной лишь целью – поглумиться над безобидным парнем и тем развлечь себя.

Вот он зашел к Прокудиным, в руке у него палка – посох. На крыльце он оставляет лапти. Во дворе у Прокудиных бочка с дождевой водой. «Для смеха» соломоновы лапти заталкивают в бочку. Соломон еще не знает этого. Он сидит в избе на лавке, дружелюбен, улыбается, ждет, что ему дадут хлеба. Взрослых в избе нет. У него спрашивают какую-нибудь глупость, он отвечает. Он уже мужчина – большой и сильный. Пацанва, которая его окружает, мельче, старшим лет четырнадцать-пятнадцать. Но они, как стая собачонок, норовят укусить сзади, исподтишка, в лицо показывая лживое дружелюбие. Наскоки становятся все более злые, ему делают больно. Он быстро вскакивает, шагает к двери. Стая бросается за ним. На крыльце он ищет лапти, находит их в бочке. Мальчишки гогочут. Сзади ему делают еще что-то. Он с силой и в ярости швыряет палкой. В толпе полный восторг. Когда он достает из бочки лапти, с которых потоками льется вода, взваливает их на спину, восторг достигает апогея – всеобщий хохот.

Иногда Соломона при его появлении окружают на улице. Предлагают снять штаны и поплясать, обещая за это дать хлеба. Он спускает штаны, обнажается срамной уд, следует безудержный хохот. Соломон пляшет, но хлеба ему не дают. И пока он идет по деревне, торопясь покинуть ее, стая не отстает от него. И каждый старается ткнуть его больнее, дернуть за лапти, и все хохочут. Соломон отмахивается палкой. Скорей! Скорей! Почему так недобры эти мальчишки?!

Соломон настоящий нищий: одежда его оборванная, убогая, он весь во вшах. Кто-то видел, как он сидел на лесной поляне, раздевшись донага, истребляя одолевавших его паразитов.

Я уже освоился с деревенской жизнью. Наравне с другими мальчишками катался на лыжах с горы. Было там еще одно своеобразное средство для катанья – конек. Это широкая плаха длиной в аршин, передний конец которой загнут и скруглен, как у лыжи. На противоположном конце вделаны две палки со скрепляющей перекладиной, как ножки у скамейки, позади которых – площадка по размеру ступни. Конек изготавливался на морозе. Нижняя поверхность плахи обкладывалась навозом, перемешанным с соломой, поливалась водой в несколько слоев, давая каждому слою замерзнуть, выравнивалась, доводилась до зеркального состояния. Стоя одной ногой на плахе, отталкиваясь другой и держась за рукоятки, можно было здорово катиться и по дороге, и с горы. Кто-то из приятелей сделал и мне такой конек, и я катался на нем.

При тамошнем климате перед снегом, недели за две, мороз сковывал землю, и пруд превращался в идеальный каток. Мальчишки здорово катались на коньках, прикрутив их к валенкам. Коньки были школьные. Я тоже пробовал это катанье, но не вполне освоил, может, потому, что у меня была неподходящая обувь.

Летом было раздолье и больше развлечений. Из Ижевска мать привезла мне бамбуковое удилище. Случилась сильная гроза с ливнем, после которой мальчишки сразу же побежали с удочками на пруд: в этот момент рыба здорово клевала. Я прибежал со своей новой удочкой. Вода у плотины бурлила, и здесь собралось много таких же рыбаков. У меня клюнуло. Ташу и чую: огромная рыбина. Из воды показался лещ величиной с лопату. Вот он летит на крючке над водой, и тут ломается удилище. Лещ падает на землю у самой кромки, обломанный конец удилища оказывается в воде, пенными булунами несущейся к плотине. Растерявшись, я бросаюсь прежде всего за ним, а в это время лещ, подпрыгивая на кромке, раз, раз, раз – и в воду, и был таков. И я остался и без удочки, и без улова.

Между тем шла ведь война. Раз, когда я с удочкой ушел подальше от плотины, где обычно никто не рыбачил, на противоположном берегу появились двое: военный и с ним мальчишка. Военный, наверное, и сам был еще мальчишкой. В армию ведь призывали семнадцати лет, а после трехмесячных курсов давали погоны лейтенанта. И этот лейтенант стал стрелять из пистолета в мою сторону. Расстояние было метров сто, может быть, больше. Я не мог понять, в чем дело. Видно было, как он целился, звучал выстрел, и возле меня, шагах в десяти, а может и меньше, в воде что-то булькало. Наверное, он расстрелял всю обойму и, видимо, так шутил, хотел поугаить меня. Кто он был, откуда взялся, я так и не узнал, думаю, чей-то родственник из нижней слободы.

Раз, когда я был на порубке, прямо надо мной, над самой землей, пронеслось звено истребителей. Это был единственный случай, когда я видел там самолеты. Обычно же небо там было постоянно безоблачное и пустое, солнце сверкало от зари до зари. Только канюк кружил над деревней, наводя панику на куриное племя.

Шла молва, что в лесах появились дезертиры. Рассказывали, что, встречая кого-нибудь, они отнимали съестное и вообще были опасны. Время от времени по деревне ходила комиссия, обязанностью которой было искать дезертиров. В комиссию входили: председатель Демидов, наша мать, кто-то из бригадиров, конечно женщина. Ловить дезертиров никому не хотелось. Мероприятие проводилось чисто формально. Пускался широковещательный слух, когда, в какое время пойдет комиссия, и, слава богу, ни разу никаких дезертиров не было обнаружено.

Местное население, особенно школьники, постоянно жевало серу – жвачку, изготовленную из еловой смолы, о чем я узнал еще от Юры в первый день нашего приезда. Собирали такую, чтобы она была не слишком молодой, тягучей, и не старой, затвердевшей, растрескавшейся. Складывали в какую-нибудь посудину и над огнем медленно доводили до кипения.

Нужно было правильно определить момент готовности, не передержать на огне. Кипящую жидкую смолу выливали на тряпицу вроде марли, процеживали в воду, где она сразу затвердела и приобретала цвет светлого шоколада. Если сера получалась удачная, она легко жевалась, не прилипала к зубам, делалась красивого светло-желтого цвета, имела приятный аромат, тянулась и здорово щелкала во рту. Школьники жевали и во время уроков, что, конечно, не разрешалось. Учительница отбирала серу и выбрасывала в печку. Варил серу и я с кем-то из ребят возле родника, под горой. Развели костер, подвесили над огнем котелок со смолой, процедили прямо в родник, где она тут же затвердела. Мелкие капли образовали красивые горошины. Изготовленная профессионально, плитками, подобными шоколадным, она продавалась в городе на базаре.

Замечательная в своем роде женщина, хозяйка наша, была сильная, выносливая не только телом, но и духом, работящая, немногословная, делала всякое дело основательно, аккуратно, любила во всем порядок. На таких крестьянах держалась Россия, и таких больше уж нет. В избе у нее все было на своем месте. На окнах стояли горшочки с геранью и столетником, в кухне был еще и фикус. Изба была оштукатурена и побелена, кроме потолка. Не было ни тараканов, ни клопов. Оставшись одна после смерти старика, пережив гибель младшего из трех сыновей, она нисколько не изменилась в своих обычаях и привычках, в постоянстве трудов. Большой приусадебный участок был вспахан и засеян. При посадке картошки и всякого другого колхоз давал лошадь с плугом и пахарем, я тоже, как она научила меня, рассаживал по борозде картофелины. Сажать картошку помогала и наша мать. Каждый год хозяйка чистила хлев и удобряла землю навозом. Все очень хорошо росло, давало обильные урожаи. Помимо картошки – капуста, лук, свекла, огурцы, репа, морковь, подсолнухи, мак, а также ячмень, который предназначался курам. Амбар был полон мешками с пшеницей, рожью, другим зерном. В подполье хранились картошка, овощи, яйца, продукты, получаемые от коровы. Свиней в тех местах не держали, была только колхозная свиноферма. Зато держали овец. У хозяйки их было четыре или пять. В положенное время она стригла их. Потом всю зиму пряла пряжу, вязала носки, варежки, перчатки. Связанные из немытой шерсти, сначала они были серые, сальные, а после стирки – белые, пушистые, мягкие, необыкновенно теплые.

Зимними вечерами во время прядения хозяйка сидела у окошка, где светила луна. Мать, Вера и она о чем-нибудь говорили. Изредка хозяйка приподымала половинку зада, издавая выразительный протяжный звук – это было в порядке вещей и не нарушало мирного течения вечерних часов. Так должно было делать для облегчения организма. Была она плотного сложения, имела седые волосы, закрученные в пучок, дома ходила с непокрытой головой. Лицо было большое, красное, нос крестьянский, широкий. Внимательные глаза все видели, все замечали. В деревне говорили, что она колдунья, хотя ничего похожего на это не было заметно. Думаю, говорили из зависти к ее успешности и достаткам. Однако, помню, она высказала пророчество: в этой войне победит воин на красном коне, а в следующей победит черный воин.

Как-то я, видимо, ослушался строгого ее «стювайся!», и она решила поучить меня ремнем. Я увернулся и стал бегать от нее вокруг печки. Поняв, что меня не догнать, она сделала вид, что потеряла ко мне интерес и, когда я забылся, подкралась сзади и все-таки хлестнула меня разок, чем удовлетворила свое хозяйское самолюбие.

Конечно она была скупа, прижимиста. Когда в погребе у нее портились ряженка или простокваша, она угощала ими нас: «Возьми, Васильевна, покушай». А однажды обнаружилось, что куры несутся в таком месте, откуда невозможно достать яиц – под амбаром, и она велела мне лезть в узкое пространство, где можно было и застрять. Я нашел там три кладки и достал, думаю, более четырех десятков яиц. Хозяйка решила вознаградить меня и долго перебирала добытые мной яйца, поднимала их к солнцу, просматривала на просвет, наконец выбрала, видимо, самое плохое. Игорю, который стоял тут же, глотая слюнки, ничего не дала. Почему я не догадался припрятать с десяток?

У хозяйки бывали и гости – Суховы, муж и жена, оба лет пятидесяти или побольше, оба худые, соответствуя своей фамилии. Жили на производственной базе артели, служили там сторожами. Муж был участник мировой войны, во время которой попал под газовую атаку, сильно пострадал, был почти слеп. Единственный сын их был на войне. Были они вполне милые люди, обладавшие некоторой интеллигентностью, но также редкостным свойством говорить, говорить, говорить. Особенно этим отличалась супруга. Муж, когда приходил один, мог и поговорить, и помолчать. Супруга же не умолкала ни на минуту. Едва появившись, тут же приступала к хозяйке с разговорами. Хозяйка ни о чем ни спрашивала, ни переспрашивала, занимаясь своими делами, шла в сарай, в огород, в клеть, еще куда-нибудь. Гостья не отставала от нее и все говорила и говорила. Когда супруги бывали вдвоем, то и после целодневных разговоров в постели – бывшей хозяйина – продолжали шушукаться, казалось, всю ночь.

Помню, как, глянув в окно, выходящее на поле, я увидел этого высокого, худого старика, шагавшего по выюжной дороге, пошатываясь, подняв кверху лицо, как это делают слепые. Он видел только свет и какие-то силуэты. Как он не сбивался с пути – двадцать километров через поле и лес, – непостижимо.

Оба они беспокоились о сыне, много говорили о нем, соболезнавали смерти нашего хозяйина и Василия. Уж не знаю, какова была цель их прихода за такие километры, часто зимой.

Бывал еще за каким-то делом некто Аникин, знакомый нашей хозяйки – тщедушный, косоглазый, видимо непригодный для военной службы, державший себя, однако, мужественно, солидно. Ради него, как и для Суховых, хозяйка ставила самовар, зажигала керосиновую лампу. Человек был, видно, не злой, но имел черту показать себя, говорил так, как говорят с людьми несведущими – громко, учительно.

Раза два заезжала и Надежда Николаевна по своим ветеринарным делам. Для матери их встреча была в радость. А хозяйка и ее удостаивала самовара и керосиновой лампы.

Жить здесь мы начинали, когда у нас не было решительно ничего, никакого имущества. Но вот постепенно обжились, появилась какая-то одежда, конечно тряпье. Дали нам клочок земли, и мы уже собирали урожай картошки, свеклы, моркови, репы. А когда Демидов принял мать на работу, мы были уже и с хлебом.

Среди различных занятий и забав по примеру других мальчишек я тоже завел себе кресало и трут. Трут изготавливался из гриба вроде чаги, вываривался, высушивался, обжигался. Кресало – небольшая, но массивная железная пластинка. Важно было, какой использовался кремь. В этих местах уже ощущалась близость Урала, и можно было прямо в поле найти какой-нибудь минерал. Я сам нашел кусок серного колчедана, о котором сразу подумал, что это золото: он искрился мелкими золотистыми кристаллами. Нашел кусок галенита с его кубическими кристаллами тусклого свинцового блеска, находил разнообразно красивые образцы кремния. При ударе кресала о кремний искры вылетали ярким белым снопом, а при ударе о серный колчедан они были тускло-красные, при этом шел специфический неприятный запах.

Летом от школы мы получили задание заготавливать для госпиталей безлепестковую ромашку. Ее нужно было тащить из земли с корнем, очищать и сушить в тени. Сколько-то этой ромашки собрал и я.

Любил я бывать на конюшне, смотреть лошадей, заходил в кузницу и подолгу наблюдал, как кузнец-старик раздувает горн, раскаляет до бела кусок железа, выковывает из него что-то, окунает в бочку с водой. Смотрел, как он подковывает лошадь: заводит в станок, закрепляет согнутую ногу и ловко приколачивает подкову.

Кузница стояла отдельно от деревни, возле пруда, перед плотиной, внизу глинистого обрыва. Отвесная верхняя часть обрыва была изрыта норками, в которых жили стрижи. Здесь они постоянно летали с визгом – красиво, стремительно, как пушенная стрела.

Шло лето сорок третьего года. Я знал уже все окружающее пространство, по-прежнему моим главным делом была доставка дров. В другое время я ходил на пруд, купался, присоеди-

нялся к деревенским мальчишкам. Но чаще уходил в лес один по малину, по грибы, иногда просто бродил, погружаясь в окружающий мир, сливаясь с ним.

С обрывистого берега речушки, впадавшей в пруд, было интересно наблюдать проплывавших там в стайке маленьких серебристых рыбок, штук сто. Вода была хрустально прозрачна. А когда я шел берегом пруда, по самой кромке, в воду одна за другой бултыхались толстые зеленые лягушки.

Леса были такие, что, отойдя на пару сотен метров от мест, где я набирал топливо, начинались настоящие дебри, глушь, куда никто не заходил. Там, на крутой холмистости, ель росла так плотно и так густо, что сквозь частые переплетения ветвей, мертвых и сухих снизу, чуть проглядывали солнце и небо. Там стояла недобрая тишина, создававшая вместе с валежником и буреломом, покрытыми мохом, картину бездвижную, мрачную, вызывавшую чувство, что жизнь умерла.

Это не было еще последней чертой, переступить которую означало бы покинуть дарованный человеку мир. Дальше открывался глубокий провал. Крутой склон, покрытый высохшими деревцами, не сумевшими обрести полноты предназначенного им роста, уходил далеко вниз. Мхи покрывали упавшие друг на друга стволы, высасывая из них то, что еще было остатками жизни и неминуемо должно было исчезнуть, рассыпаться прахом. Земля скрывалась под толстым слоем мертвой хвои, не позволявшей взойти никакому живому ростку. Сумрак, молчание, ни малейшего дуновения, ни звука, вечная, без какой-либо надежды, безысходность.

Только заглядывая туда, лишь коснувшись этих небытия и мрака, я уходил в места, где душу и глаз радовали простые трава и цветы, где старые ели и молоденькие деревца задумчивым колыханием ласковой зелени, тихим шепотом, скользящим вершинами леса, возвращали к свету и жизни. Над ними сияло мирное небо. Редкие облака таяли и вновь возникали в нем, утверждая, что так будет всегда.

В другое время я ходил по малину, забирался в малинник, необозримо покрывавший пологий склон широкого оврага. На шее у меня висел длинный, небольшого диаметра туесок, я клал туда ягоду за ягодой. Необыкновенно сладкой и душистой была лесная малина. Малинник перемежался зарослями жгучей крапивы. Там и сям среди них возвышался муравейник. С безоблачного неба палило солнце, стояло обычное безветрие, а значит, ничем не нарушаемая, однако живая, добрая тишина...

Неожиданно мне захотелось испробовать колхозных работ. Рано утром мать передала меня бригадирше, молодой женщине, которая отвела меня в поле, где я должен был дергать лен. Она обозначила мою делянку, показала, как дергать, как делать вязку, снопики, составлять из них копенки. И я узнал, что такое крестьянский труд.

Очень скоро спина моя начала разламываться и трещать. Когда становилось невмоготу, я делал на земле валик из снопиков, ложился на него поперек, пытаюсь разогнуть спину, лежал так несколько минут, глядя в небо, и снова принимался работать.

Лен сильно пророс сорняками, из которых самым противным был колючий пустырник. Руки мои стали бурыми, исколотыми мелкими колючками.

Лето было на исходе, но день все еще был солнечный, жаркий. Я работал один, возле меня не было никого. В полдень обедал куском хлеба с картошками в мундирах и проработал до самого вечера. Домой приплелся весь изломанный, разбитый и на следующий день малодушно дезертировал. Однако моя работа была учтена: мне зачли полтрудодня, за которые я что-то и получил, кажется, молока. Пол-литра? Литр? Не помню.

Зимой, уже сорок четвертого года, по деревне разнеслась весть: приехало кино! Вечером в правление колхоза сбежались мальчишки. Показывали английский фильм «Повесть об одном корабле». Комната, где мы собрались, была битком набита – все только мальчишки. Сидели на полу, я – перед самым экраном. Размер его был, наверное, метр. Звука, конечно, не было, но было и так все понятно. Моряк с потопленного фашистами корабля оказался в море один.

Чтобы фильм шел нормально, нужно было крутить и ленту, и динамо, подававшее электричество. Охотников на это было достаточно. Фильм шел частями, между которыми был перерыв для смены кассет. Впечатлений было море.

Вскоре после этого в сельсовете выступали артисты. Снова это вызвало возбуждение среди мальчишеской массы. Сельсовет находился километрах в семи. Собрались мальчишки из окрестных деревень. Шли гуськом через заснеженное поле. Был небольшой морозец при обычном безветрии, светила луна. На снежном покрове было светло, как днем.

В сельсовете комната была побольше и тоже полна народом. Передние зрители, среди которых был и я, тоже сидели на полу. Артистов было двое – мужчина и женщина. Разыгрывались сценки по чеховским рассказам. Часть комнаты была отделена от «зала» тряпичной ширмой, за которую артисты уходили в перерывах между сценками. В памяти осталось, что это было интересно, талантливо, здорово. Незабываемое впечатление тех дней!

В деревне жил разный народ. Дедушка Микрюков – весь белый, седой, с белой бородой, ласковый и добрый, с палочкой – часто сидел на лавочке возле своих ворот, улыбался, смотрел зоркими глазками, что-то говорил, когда, бывало, проходишь мимо. Другой старик, покрепче, Крюков, все лето изо дня в день, ловил на удочку лещей. Говорили, налавливал по пятьдесят штук за день и всегда сидел на одном и том же месте. Мальчишки усаживались вблизи от него, но никому не удавалось даже приблизиться к такой удаче. Был еще Вася Семенов – сильный здоровый мужик лет до пятидесяти, хромой. В первую мировую войну пуля попала ему в колено, отчего нога престала сгибаться. Вася был мужик-жила, из тех, которые не упустят и копейку. Был хитрый, себе на уме, все видел, все понимал, советскую власть, конечно, презирал и всегда готов был где-то что-то урвать, прихватить. Он был рыбак другого рода, чем старик Крюков. Пруд был колхозный, рыба в нем тоже была колхозная. Удочкой ловить можно было каждому. Вася же делал то, что было настоящим разбоем. Ночью выезжал на лодке на середину пруда, ставил сети и боталом загонял в них рыбу. Говорили, налавливал два-три мешка. Все это знали, но никто не связывался с ним. Колхозная работа Васи состояла в том, что он где-то что-то сторожил.

Как-то из города опять приехал Юра. Он предложил сходить по малину. Мы взяли котелки и отправились в лес. Наш путь проходил мимо поля, засеянного горохом, который к этому времени созрел. Мы решили немного полакомиться им, а заодно тут же справиться некоторую нужду. Так мы сидели на гороховом поле, мирно беседуя, делая сразу три дела. Вдруг как из-под земли: «Стой, стрелять буду!». Неведомо как перед нами возник Вася, направив на нас ружье. Юра мгновенно дал стрелача в сторону дома. Я же под дулом направленного на меня ружья оцепенел на месте, поддерживая рукой штаны. Вася отобрал мой котелок, меня же отпустил.

Оставшись один, от обиды и досады, от чувства вины – как отчитаться перед хозяйкой за котелок, который, по-видимому, пропал – я до вечера бродил по лесу, переживая случившееся. Когда же пришел домой, первое, что увидел на столе – свой котелок. Юра за это время отбыл в город. Надо мной слегка посмеялись. Видимо, Вася красочно живописал происшедшее. Был он наблюдательный, сметливый и не без яда.

В колхозе работы начинались рано. Бригадирша стучала в окно чуть свет. В поле выгоняли коров и овец, шли к тем работам, которые приспели. Пахали, сеяли, косили, жали, молотили, свозили в хранилища, в скирды, в стога. Работали на конюшне, на свиноферме, с кроликами. Работали и на своих усадьбах. Разные были семьи, по-разному работали, и достатки были разные, но, кажется, в деревне никто не голодал.

Наступало время жатвы, и у нас под окнами, за околицей, собирались жнецы. Событие было такого же значения, как и то, когда выезжали пахать. Это было как праздник. Мужчины управляли конными жнейками, женщины собирали сжатые колосья в снопы, ловко и быстро скручивали свясла, делали вязку, ставили копны. Работа шла споро, весело.

Потом снопы свозили на колхозный двор, а некоторую часть складывали тут же, на поле, в скирду.

В нижней слободе жила Манька – так ее звали, – беженка из Белоруссии еще времен первой мировой войны. Говорили об ее нерадивости и лени. Я ее не знал, хотя, наверное, и видел как-нибудь. Была ли у нее семья? Какая? Сколько ей было лет? Просто меня это не интересовало. Слышал только, что на огороде у нее росли одни подсолнухи. В четырнадцатом году она бежала из своих краев, да так и осталась здесь навсегда. За бесхозяйственность в деревне ее осуждали. Но, может, была этому какая-то причина.

С некоторыми ребятами я немного дружил, бывал у них дома. Ванька Пасынков – этакий деревенский мечтатель, – добродушный, круглолицый, песельник, знал множество частушек, из которых пел с особенным задором:

Моя новая котомочка
На лавочке лежит.
Неохота, да придется
В Красной Армии служить.

Стяжкин Витька – боевой, смелый, любитель подраться. Прокудин Ленька – вроде бы покладистый, не злой, на самом деле готовый обмануть, поживиться за чужой счет. У Прокудиных все время пропадал Игорь, когда я не брал его с собой. Были еще Демидовы, Пойловы, а ближе всех оставался Колька Бельтиков – коварный и недобрый, с зелеными в хитром прищуре глазами, с кривящейся улыбкой, все как будто соображавший в уме, что бы сделать такое. Он жил с матерью и бабкой. Все они были немного с придурью, любили пошуметь, покричать. Утром, зимой, в любой мороз, на крыльцо в одной рубашке выскакивал Колька и прямо с порога пускал струю. После Кольки появлялась мать, тоже в одной рубашке и тоже пускала струю, задравши подол, изогнувшись передом. Наконец выползала бабка за тем же самым и опять в одной рубашке, только уже выставляла обнаженный зад. За зиму у крыльца вырастала желто-зеленая ледяная гора.

На деревне эту семью не любили, а мальчишки не любили и Кольку. Его как будто даже били, и, наверное, потому он никогда не бывал ни в каких компаниях. Однажды зимой он выскочил на улицу с ружьем. Он часто им хвастался, но стрелять не умел. В этот раз ему вдруг захотелось пострелять снегирей, стайкой слетевших на дорогу. Зарядив ружье, прицелился, щелк – осечка, щелк – осечка. Начал возиться с патроном, все щелкал, и все была осечка. Недолго думая, бросился домой, схватил молоток. Вернувшись на дорогу, отодвинул затвор и трахнул молотком по патрону. Раздался выстрел, вылетевший патрон удалил в затвор, затвор вылетел прямо в лоб Кольке. Удивительно, но как-то ему это обошлось. Может, вышибло последние мозги, но остался жив, долго потом отлеживался дома. А там, где произошла трагедия, большая глыба снега напиталась Колькиной кровью.

Среди ничем не примечательных деревенских будней из города докатилась весть неожиданная и жуткая. В город из деревни приехал колхозник продать своего крестьянского товару. Там у колхозника была родня – начальник районной милиции, в доме у которого он остановился, а распродав свой товар, заночевал. После удачного торга у колхозника оказалась некоторая сумма, которую он там же, в доме родственника, не таясь, пересчитал. Утром он выехал домой, а на дороге, сразу за городом, подвергся нападению разбойников. В него стреляли из револьвера, ранили, однако погнав лошадь, он избежал смертельной опасности. Подобное на Руси случалось и раньше. Взволновавшая особенность происшествия состояла в том, что разбойниками были сынки начальника милиции, секретаря райкома партии, председателя райисполкома и кто-то еще из той же элиты. Все мальчишки были учениками то ли девятого, то ли

десятого класса, все друзья-приятели. Организатором был сын начальника милиции, видевший, как деревенский родственник пересчитывал свои деньги.

Занятия в школе велись по часам, которых, однако, не было в наличии. Часы имелись в соседней избе, и учительница каждый раз посылала меня узнать, который час. Изба эта была уже немножко дом. Стены в горнице были оклеены обоями. Был комод с какими-то на нем украшениями, хороший стол, венские стулья. Стену украшали какие-то картинки, а также часы в футляре, с большим маятником. О хозяйке нельзя было сказать «старуха», но старая женщина. Она была высокая, степенная, одетая по-крестьянски, немножко и на городской манер. Иногда хозяйки не было в доме, и я сам определял время. Но однажды здесь появились новые люди: женщина, старушка и двое детей – девочка и мальчик.

Женщина была как будто больна, все время лежала на кровати, старушка чаще всего отсутствовала, дети находились возле матери. Девочка была примерно моего возраста, мальчик – лет шести. У девочки были голубые глаза, она была красивая, но имела странно большой живот и одутловатое лицо. Мальчик тоже был с большим животом. Эти родственники хозяйки дома были ленинградские блокадники, вырвавшиеся оттуда каким-то чудом. Были они странно тихие, серьезные, постоянно молчаливые. Что такое Ленинградская блокада, я узнал потом.

И женщина, и дети не выходили на улицу. Старушка же стала показываться на деревне и неожиданно появилась в нашей избе. Еще более неожиданным оказалось, что она пришла именно ко мне. В руках у нее была стопка небольших, нарезанных в одном формате листочков плотной бумаги. Она узнала где-то, что я художник, – таков был слух обо мне, – и попросила нарисовать ей карты. Художник я был кое-какой, но взялся выполнить этот заказ. Я нарисовал все значки, но фигур не стал рисовать, поленился, а просто написал: валет, дама, король. Старушка была крайне огорчена моим упрощенным исполнением, и мне было стыдно и жалко ее, кроткую, худенькую, в темных одеждах, с большими, печальными, бесконечно добрыми глазами. Можно было почувствовать, как она была красива в молодости. У нее был тихий голос и какая-то очень красивая, правильная речь. Она собиралась гадать о судьбе сына – моряка, капитана, отца тех девочки и мальчика. На самом деле было известно, что он погиб, но старушка рассказывала всем, что он скоро вернется и какой он красивый и замечательный сын. И, кажется, она ни о чем больше не думала и ни о чем другом не говорила.

В пруду кто-то выловил больших окуней и прямо на берегу выпотрошил их. Среди внутренностей оказались проглоченные окунями небольшие рыбки. Таковую рыбу есть нельзя, хотя на вид она кажется вполне пригодной. Старушка, познавшая голод блокады, подобрала этих рыбок, в каком-то виде поела их и чуть не умерла.

Пока в школе шли занятия, я каждый день приходил в этот дом узнавать время. Там, на столе, я увидел большую, с картинками, книжку «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Я попросил почитать, и девочка дала мне ее. Книжка мне очень понравилась. Когда я читал ее, я думал и о девочке – молчаливой, красивой, с печальными голубыми глазами.

Летом они с братом стали приходить к пруду, но не спускались к воде, где рыбачили мальчишки, а оставались на горе, среди высоких, тенистых лип. Здесь, в траве, было много цветов, росли деревца волчьих ягод. Сестра и брат сидели отрешенные, странно серьезные, пришельцы из мира, о котором мы не знали ничего. Отыскав в траве несколько веточек с ягодками земляники, нарвав каких-то цветочков, я поднимался к ним с этим приношением. Принимая его, она благодарила слабым своим голоском, чуть заметно улыбалась. Я рассказывал, какая рыба водится в пруду, какие здесь леса, какие в них живут звери, какие растут грибы и ягоды. В глазах, которые она изредка поднимала ко мне, я встречал тепло и чувствовал, что ей хочется, чтобы я приходил еще.

Однажды в деревне появился гадатель. В блюдечко с водой он сыпал золу и опускал кольцо, в которое нужно было долго и пристально смотреть. К гадателю сбегалась вся деревня. Мать тоже пошла погадать. На дедушку вышли голова и лицо, занявшие все колечко. Глаза у

дедушки были закрыты, он был неподвижен. На бабушку получилась картинка: маленькая движущаяся женская фигурка возле шалаша. Предсказание оказалось верным. Потом мы узнали, что дедушка был мертв, бабушка была жива, но дом сгорел, о чем намекал шалашик.

Наступил день нашего отъезда. Был март сорок четвертого года. Накануне хозяйка позвала меня пилить те бревна, которые она берегла как неприкосновенный запас. Теперь она хотела как можно больше заготовить дров на будущее, используя в моем лице работника, которого лишалась.

Мы пилили целый день – не на козлах, а на лежачей колоде, все время находясь в склоненном положении. У меня ломило спину, темнело в глазах, но хозяйка подтаскивала все новые и новые бревна. Лес был крепкий, ядреный. Я уже терял последние силы, в глазах стоял туман, а женщина, которой было за шестьдесят, не знала устали. Волей-неволей мне пришлось выполнить и этот урок.

Наконец настал этот день! Как долго я ждал его! Как долго думал о нем! Хозяйка говорила матери: «Оставайся, Васильевна, будем жить вместе». Но душа рвалась: «Скорей! Скорей!».

Последний раз я пришел в школу и последний раз зашел в дом, где узнавал время. Хозяйки не было, старушки, которую я так обидел, тоже не было. Женщина по-прежнему лежала за ситцевой занавеской и молчала. Мальчик был возле нее. Девочка встретила меня. Мы подошли к столу. Я сказал, что завтра мы уезжаем. Она наклонилась к книжке, которая лежала перед ней, будто что-то смотрела, водила пальцем, долго молчала. Потом подняла свои прекрасные глаза. В них стояли слезы.

– До свидания, – чуть слышно прошептала она...

Стояла оттепель, первая за все эти годы, в то время когда еще должен быть мороз.

Подъехала лошадка, запряженная в сани. Возчик руководил погрузкой. В сани положено сено. Мы одеваемся в дорогу, складываем свои пожитки. Среди них самое главное наше богатство – сколько-то пудов прекрасной пшеничной муки, полученные матерью на трудодни – заслуга и преступление Демидова. Все готово. Хозяйка роняет скупую слезу. Кажется, и Вера тоже.

Сани тронулись, лошадка пошла вниз, мимо Колькиной избы, мимо школы, мимо дома, где осталась грустная ленинградская девочка. Я смотрел на окна, ждал, но она не показалась.

Сани пошли к скотному двору и конюшне, через мосток, по нижней слободе – впереди поле, холмы, леса и бесконечные снега под небом, непривычно затянутым неподвижными, отсыревшими тучами...

Покидая суровый тот край, я не мог сдержать воображение – оно бежало вперед. Долгие дни я вспоминал любимый город, думал о покинутом доме, о тех, кого оставил там. Я видел их в снах. А то, что было моей жизнью здесь, оно было чуждое и чужое. Я думал, что забуду его навсегда. Но нет, оно остается. Воспоминания делаются ярче. Приходят чувства, которых вроде бы не должно быть. Вспоминается все, что дарило крупицы счастья, которого тогда я не осознавал. Даже тот эпизод крестьянского труда, показавший, насколько это за пределами детских забав, даже в нем вспоминаю теперь не ноющую спину, не исколотые руки. Вспоминается материнский запах земли и то, когда, давая отдых натруженным членам, лежал я, распластавшись под ласковым небом, утопая взглядом в голубизне, пронизанной золотыми лучами... О, как славно это было! Эти небо, полевые просторы и земля – добрый, любовный дух ее...

Вспоминаются вечерние часы возле раскаленной печурки, для которой днем по морозу притаскивал я жарко горевшие в ней смолистые сучья, разговоры матери, хозяйки, Веры, притихший братишка, и за окном сказочная ночь... Вечер заканчивается, мы забираемся на полати. В натопленной избе так славно расслабиться даже на этой тощей постели. И перед сном мать рассказывает потихоньку разные истории из прошлой жизни, из той, которая была еще задолго до нас, содержание прочитанных ею книг, кинофильмов, которые она смотрела...

Втроем, только что обретя новое пристанище, бродили мы вечерами среди порубки, собирая ягоды и грибы. А еще то, как строптивая Дочка выбросила меня из тарантаса на дорогу. И опять же раньше всего другого вспоминаются запахи, которые шли от поля, от старого тарантаса, от лошади, и открывавшиеся просторы этой земли, среди которых так редко увидишь живую душу, и дорожный шум под колесами трав, полевых цветов, сопровождающий в долгом пути...

Мрачные леса, подступавшие к деревне с разных сторон, сдержанно машут из дебрей своими мохнатыми лапами, и странна, таинственна живая тишина, которую оберегают они...

Два человечка пробираются со своей телегой, нагруженной выше высоких бортов бревнами и бревнышками, мимо пней и навалов валежника, среди трав, зарослей малинника и крапивы. Первый из всех сил, с трудом толкает тележку. Второй плетется сзади, подбирает что-то в траве, срывает попадающиеся цветы. На дороге оба они скрываются среди высокой ржи, останавливаются, чтобы передохнуть, слушают тишину, шепот колосьев... Вспоминается и девочка... те неожиданные слезы... и внезапное, никогда еще не испытанное, особенное чувство расставания, первое в жизни...

А мать? Было бы все это, как оно было, и вообще – было бы, если бы не она? Энергичная, стойкая, не терявшаяся в обстоятельствах, которые многих сломили.

В тот день, когда мы покинули свой дом и наш город, прибежав с работы, она объявила о нашем отъезде. Бабушка помогала собраться. Вещей взяли только для Игоря – небольшой чемоданчик, выезжали ведь на три дня. На перроне не протолкнуться, паника, куда-то бросающиеся люди, сцены прощанья, слезы, чьи-то вскрики. Бабушка оставалась совсем одна...

Сколько мы ехали! На больших станциях, где оказывалось одновременно несколько эшелонов, собирались тысячные толпы. Все сразу бросались в поисках пропитания при постоянном страхе, что поезд может отправиться в любую минуту. Мы тревожились за нашу мать. И она возвращалась и что-нибудь приносила. Миновав территории, подвергавшиеся налетам и бомбежкам, поезд все шел и шел. Иногда он двигался так медленно, что, кажется, это была скорость обычного пешехода. Мимо раскрытой пульмановской двери проходили просторы России. Распластавшись на полу в сумраке мерно подрагивавшего вагона, беженцы молчали. Спали? Думали невеселую думу? В сиреневых сумерках над горизонтом поднималась луна – огромная, красная, молчаливая, будто чье-то око, знающее все и про всех. Как замороженные, мы следили за ней...

Это только благодаря матери мы еще не познали той крайности, в которой оказались многие и многие в те годы. В деревне ее признали, к ней отнеслись уважительно...

Вот мы катимся в тарантасе среди полевых просторов, вот собираем ягоды, грибы, вот едим гороховый суп, в то время как в столовой гам и шум, и очередные едоки ждут, когда мы освободим место. Вот мать читает Псалтирь, вот уезжает на целый месяц. Мы с нетерпением ждем, когда она вернется. Или мы вскапываем тот клочок земли, на котором вырастим первый наш урожай.

В день рождения она дарит мне альбом, который втайне готовила долгие дни. Это канцелярская книжка, для которой она смастерила картонную обложку. Страницы украсила аппликациями, вырезанными откуда-то картинками, написала стихи ровным, бегущим почерком, сделала пожелания. Не помню, чтобы она была в унынии, но всегда готовая встретить любое испытание. Никакой растерянности, паники, только активное отношение – действовать, искать выход, это при ее сочувственном, отзывчивом характере...

Но все имеет предел. При последнем нашем свидании это была старая женщина, седая, с лицом пепельно-землистым, отразившим страдания многих месяцев жестокой болезни, с блеском железных зубов из-за усохшей кожи, с черными провалами исстрадавшихся, когда-то голубых глаз. Исчезло очарование молодой женственности. Я держал сделавшуюся маленькой и

бессильной старушечью ручку. В другой был комочек платка, которым она время от времени утирала глаза, уголки рта. Куда смотрела она? Что видела перед собой?..

Долгое молчание покрывало всю прошедшую жизнь. Продолжая смотреть в неведомое для меня, она вдруг сказала:

– А помнишь, какая была луна?..

Так подходила к своему завершению простая человеческая жизнь...

В солнечной тишине

На холме, среди колеблющихся под ветром трав, мы оставались одни... О чем мы говорили и о чем молчали?..

Нила была, как и все мы – мальчишки и девчонки... Нет, другая – лучше. Карие глаза, скользящие в улыбке книзу, прятали такое, что заставляло постоянно думать о них. Черные волосы, челка и взгляд... Она так смотрела и так улыбалась, что невольно это связывалось с теми словами из репродуктора.

Михель все что-то искал, спускался к реке, кричал оттуда. Я не думал, что и день этот, и все его очарование пройдут и многое другое тоже пройдет. Только в душе неотвязно повторялось – грустью или счастьем или тем и другим вместе? – то, что по вечерам доносилось от станции:

Пусть дни бегут, пусть идет за годом год...

С вершины холма открывались виды заречных просторов. На другом берегу под радостным ветром волновались березовые рощи, все мельче лепетали листочки плакучих ив, зеленели луга. Зыбкие горизонты за ними тонули в сияющем далеко.

От подножья холма река поворачивала вправо. Холмистость в той стороне понижалась. Вдоль берега тянулись заросли верболозов. В отдалении, уже не скрытые ими, виднелись насыпь и мост, по которым проходил воинский эшелон – платформы с танками и орудиями, теплушки, в проеме которых, перекрытом широкой доской, теснились солдаты.

Но странно: солнце и тишина, а рядом военная гроза – они существовали в одном и том же пространстве, в одни и те же дни цветущего июня. Две стихии, никак не соединимые в одно, все-таки составляли единую повседневность. Но когда той, устрашающей, не было вблизи, начинало казаться, что нет уже войны, что солнце и тишина наконец восстали над миром...

Солнце и тишина... Они сопровождали нас на лесной дороге, когда мать и я шли с таянками в руках и она рассказывала о прошлом, о гражданской войне, о том, как один из братьев, больших озорников, натаскавший домой военных припасов, все что-то проделывал с ними и едва не застрелил ее – пуля прошла совсем рядом...

К полудню солнце начинает палить отвесными лучами. В воздухе распространяется смолистый запах сосны. Дорогу горбят корни старых деревьев. Вдоль нее, уходя в лесные глубины, землю покрывают папоротники, мхи, вереск, кустики черники... Такой чудесный день, небо над нами, эта дорога... Так много интересного в прошлом, об этом хочется слушать и слушать. Хочется знать про то, что было когда-то.

За лесом открывается поле. Большое, оно простирается далеко в разные стороны. Поделенное на участки по десять соток оно засажено картофелем, который уже порядочно вырос. На своем участке мы окучиваем его, дергаем сурепку, осот. Большинство дольщиков уже обработало свои грядки, и на всем поле, кроме нас, никого. Мы совсем одни, с нами только солнце, жаворонок и тишина. Удивительная, неожиданная – тишина тех дней, вспоминая которую, только сейчас постигаешь ее...

Конечно, работать таяпкой, пригнувшись к земле, не очень приятно. Куда как лучше было бы купаться с товарищами в сажалке, валяться на траве, играть в ножичек или чижику. Здесь все-таки скучно, солнце нещадно палит и ноет спина...

И вот через столько лет вспоминаются тот холм и солнечные дали, то, как откуда-то снизу звенел мальчишеский голос Михеля, и она – красивая девочка Нила; мы только вдвоем... Вспоминается лесная дорога, рассказы матери... Теперь никто не доскажет и не у кого спро-

сильно о том, что было недоговорено... Возникает видение бескрайнего поля под мирным небом, откуда вместе с горячими лучами льется бесхитростная песенка крохотной птицы... Солнечная и жаворонковая тишина, странная среди военных тревог, думая о которой, погружаешься в океан мучительного счастья... Или печали о том золотом, прекрасном?... О том, что прошло?..

Странный человек был Иван Иванович. Мы поселились у него в конце марта по возвращении из эвакуации. Стояла промозглая, слякотная погода. Раскисший снег превратился в водянистый кисель, дул сырой порывистый ветер. Показав комнату, где мы должны были располагаться, Иван Иванович тут же исчез.

В доме было холодно. Мать приготовилась затопить печку. Дрова в наличии имелись. Нужно было открыть вьюшку, но ее не было нигде. Обшарили всю печь – нигде ничего. Комнаты и кухня были оштукатурены, побелены. Печь тоже была побелена, лишь в той части, где проходил дымоход, побелки не было, а было это место аккуратно замазано глиной. Вьюшки так и не нашли. Решив, что печь устроена как-то по-особенному, стали растапливать прямо так. Дым сразу повалил наружу. Топку пришлось остановить. Так мы и сидели – в холоде и в дыму – и не знали, что делать. Ивана Ивановича простыл и след.

Явившись после долгого отсутствия, он быстро ввел нас в курс дела. Вьюшка, оказывается, находилась в той части, которая была замазана глиной. Для топки каждый раз Иван Иванович отбивал ее молотком, а протопив и закрыв вьюшку, размачивал ту же самую глину в воде, снова замазывал дымоход, и так каждый раз.

Странности Ивана Ивановича на этом не заканчивались. Дом имел две половины, на одной из которых жила его мать, неслышная, словно тень, кроткая старушка, с которой он как-то странно общался, то есть почти не общался, и постоянно куда-то надолго исчезал.

Был он, конечно, не вполне нормального рассудка. Лет ему было сорок или пятьдесят. С виду крупный и крепкий мужчина с громовым голосом почему-то пребывал в неугасимом возбуждении, все время двигался, готовый к какому-то, может быть даже страшному, поступку. И все ораторствовал, скандировал, обращаясь к кому-то, к каким-то людям, которым доказывал, что он не боится, презирает их, потрясая при этом левой рукой, на которой четко по диагонали были отрублены четыре пальца:

– Вот что я сделал! Я им доказал! Я не боюсь их!

В этом возгласе слышалось что-то трагическое, страшное, как будто задавленные рыдания о загубленной жизни.

Внутренне он был постоянно в схватке со своими врагами. И все время исчезал куда-то надолго, часто не ночуя дома. Однажды он попросил мою шапку, чтобы куда-то сходить в ней. Вид ее и, главное, цвет имели какое-то символическое значение для него:

– Я докажу им! Пусть знают! – громыхал он, резко вышагивая по комнате, жестикулируя, сжимая кулаки.

Шапка имела самый жалкий вид: вата в подкладке свалялась комьями, одно ухо настойчиво торчало вверх, другое висело с изломом. мех был скорее желтый, но с коричневым оттенком, и, кажется, именно в нем для Ивана Ивановича заключался какой-то ненавистный смысл. Надев ее, он куда-то надолго исчез.

Разумеется, ни жены, ни детей у него не было, а у меня осталось знание, что был он в заключении, в лагере, и там, чтобы показать, насколько он презирает своих мучителей, на глазах у них отрубил себе пальцы.

Постоянно отсутствуя, Иван Иванович нас не беспокоил. К тому же к нам, особенно к матери, относился вполне дружелюбно, не стесняя никакими хозяйскими правилами или требованиями. Их у него не было вообще.

Мать стала работать бухгалтером в железнодорожной организации, как она работала перед войной. Жизнь приобретала возможную в тех условиях устойчивость.

Я пошел в школу: в том году я заканчивал четвертый класс. Жанну мать отводила к нашим знакомым, землякам, с которыми мы вместе покидали наш город и вместе возвращались из эвакуации. Они тоже квартировали в частном доме, недалеко от нас. Старушка из этой семьи присматривала за своими внуками и, пока я был в школе, соглашалась доглядеть и Жанну.

Школа находилась недалеко от железной дороги, на другой стороне станции, ходить надо было по переходному мосту. Она была кирпичная, давней постройки, одноэтажная. Ее окружали старые тополя, был большой двор с устройствами для спортивных занятий. Во дворе перед началом уроков все классы выстраивались на зарядку.

В классе ученики отнеслись ко мне с доброжелательным интересом: кто я? откуда приехал?

Одним из предметов был украинский язык. И хотя я не знал его, учительница – сухонькая старушка, строгим квохтаньем своим похожая на курицу-наседку – заставила меня учить и литературу, и язык. И я учил: «Осэл убачив соловья...». Самым знаменательным примером моих успехов стал диктант, которым я развеселил весь класс. В нем я сделал примерно полтора десятка ошибок. Старушка получила редкое удовольствие, исчеркав его красным карандашом.

С некоторыми учениками я подружился. Нищенко, отличник, серьезный и положительный, позвал меня домой, показал большую, в аккуратных альбомах, коллекцию марок, среди которых были немецкие, в том числе с портретом Гитлера. Дом был интеллигентный, несколько комнат, уютно обустроенный. Нищенко спросил, пионер ли я, а узнав, что не пионер, был удивлен. Все ученики в классе были пионеры, хотя и побывали в оккупации. Он не мог понять, почему я, который жил на советской территории, не был пионером. Я и сам не знал почему.

Другой товарищ, дома у которого я побывал, показал коллекцию птичьих яиц, назвал птиц, чьи они были, объяснил и рассказал, как он отыскивает их в гнездах, как отсасывает содержимое и сохраняет хрупкие скорлупки. Яички были все маленькие, но разной величины и разного вида, с крапинками, различной расцветки, были аккуратно размещены в специальных коробочках. И дом, и товарищ этот тоже понравились мне.

Снег сошел, наступило тепло, все вокруг зазеленело. Мальчишки, пережившие оккупацию, шеголяли солдатскими пилотками и галифе, которые они как-то ухитрились носить, хотя размер их намного превышал габариты такого героя. Эти ребята, близко повидавшие войну, держались независимо, солидно, однако без бравады, просто и серьезно, как настоящие мужчины. У них не было отцов, у иных не было и матери. Один из таких самостоятельных хлопцев, в галифе, сидел за своей партой возле раскрытого окна и периодически, когда старушка копошилась в журнале, кое-как управляясь с покалеченными очками, выпрыгивал наружу и уходил по своим делам. Оторвавшись от журнала, учительница спрашивала тревожно:

– А где Хоменко?

Хоменко, который только что был здесь, отсутствовал. Позже, может быть уже во время другого урока, Хоменко тем же способом возвращался на свое место. Старушка поднимала очки, и – чудо! Отсутствовавший Хоменко преспокойно сидел там, где его только что не было. Изумленно глядя на него, она, возможно, начинала сомневаться в своем рассудке.

Война шла совсем близко. То и дело появлялись немецкие самолеты. Со станции паровозными гудками подавался сигнал воздушной тревоги. Самолет летел высоко. Зенитки принимали поспешную стрельбу. Стреляли в основном мимо.

Жили мы недалеко от базарной площади. Рядом, в довольно большом двухэтажном здании, размещался госпиталь. С наступившим теплом проходившие там лечение раненые начали прогуливаться во дворе и по улице, заходили на базар – на костылях, перебинтованные, в солдатском белье.

В мае проездом на фронт из госпиталя к нам заехал отец – все тот же, как и раньше, сильный и веселый. Он был артиллерист, капитан, командир батареи, в отличной новенькой

форме. Из вещевого мешка извлек хлеб, консервы, сахар, печенье, водку. С ним был товарищ – лейтенант медицинской службы, фельдшер – довольно уже немолодой, кряжистый, с красным лицом и мясистым носом, напоминающим некий овощ.

Вечером получился маленький праздник, все были веселы, смеялись, много говорили, шутили. Отец потискал, потрепал нас с Жанной, спросил, слушаемся ли мы мать.

Пришла наша землячка поговорить, спросить, как там, на фронте: она беспокоилась о брате. Потом сидели за столом, выпивали, пели любимые песни. Иван Иванович был в отсуствии.

Среди разговоров и шуток, между песен возникали минуты задумчивости за все пережитое и переживаемое, которое было у каждого, за то, что еще впереди. Жанна сидела у отца на коленях, прислонилась к нему, и он обнимал ее сильной рукой, прижимал к себе.

Окна были плотно занавешены. Керосиновая коптилка кидала по стенам колеблющиеся тени.

Я вышел на крыльцо. Теплый вечер опустился на город. В воздухе носился острый запах только что раскрывшихся тополей. Небо над головой было уже темно, но запад еще сиял золотом заката. Неожиданно, прочерчивая черный след на светлом фоне зари, возник самолет. Он шел, полого снижаясь, оставляя за собой шлейф черного дыма, из-под крыла выбивалось пламя. Над городом и в городе стояла непривычная тишина. Не было слышно ни выстрелов, ни взрывов, ни каких-либо других звуков. Самолет пролетел и скрылся, словно призрак, а из комнат звучало: «Прощай любимый город...».

И образы всего пережитого, того, что уже прошло и что еще будет, наполняли душу смутным предчувствием, вызывая тревогу и грусть.

Утром все были уже серьезны. Отец и лейтенант быстро собирались. На прощанье отец обнял всех нас. Мать плакала. Кузьмич, как звал отец фельдшера, ждал в сторонке. Это была последняя наша встреча с отцом, последнее свидание – в конце августа он погиб.

Вскоре мы перебрались жить в казенный дом, находившийся ближе и к городской окраине, и к станции. Дом был одноэтажный, но с большими комнатами, их было три или четыре. Были большие окна и высокие потолки. В одной из комнат нам был предоставлен угол. Другие углы занимали такие же беженцы и один из них – наши земляки. У дома был еще и широкий двор с огородом.

Началась какая-то уже немножко другая жизнь. Занятия в школе закончились. Появились новые друзья.

В отдаленном углу двора, за картофельным огородом, был вырыт окопчик такой глубины, что в нем мог сидеть взрослый человек. Сверху он имел перекрытие, слегка присыпанное землей, в длину был метра три. Это был как бы наш штаб. Здесь мы собирались, обсуждали свои дела, о чем-то говорили и здесь соорудили настоящую печку – плиту. Притащили от каких-то развалин кирпичей, нашли чугунную крышку с двумя конфорками, колосники, дверку. Лидером нашим был Коривка – не по замашкам заводилы и главаря, а по действительному авторитету, как больше знающий, бывалый, к тому же рассудительный, справедливый, смелый, всегда готовый прийти на выручку. У него не было ни отца, ни матери, он жил с дедом и, конечно, носил галифе и пилотку. Он же и построил нашу печку, которая получилась со всеми необходимыми свойствами, имела хорошую тягу, и мы постоянно ее топили, конечно, не для того, чтобы греться или что-то готовить, просто это была наша игра.

Рядом с окопчиком проходила граница нашего двора. По другую сторону невысокого забора, перекинувшись к нам ветками, росли вишни, которые уже созрели и очень соблазняли нас. Мы беспокоили хозяйку усадьбы и вишен, потому что не могли не лакомиться ими. Бедная старуха не знала, как с нами справиться, гоняя нас с ругательствами, кидаясь камнями, комьями земли. Сад у нее был устроен так, что вишни росли вдоль забора и с двух сторон дома. Потому, когда она караулила нас в одном конце, мы делали набег с другой стороны. Часто она

прибегала к хитрости: леглась в картофельной борозде, предварительно приготовив запас камней, терпеливо ждала, когда мы начнем разбойничать, готовая атаковать нас. Бедняга не догадывалась, что мы прекрасно видим выглядывавший из ботвы толстый зад в цветастом платье, и спокойно отправляемся грабить ее в другой конец сада.

Однажды кто-то предложил испечь на нашей плите пирог с вишнями. Генка, самый зажиточный в нашем обществе, принес, то есть украл у матери, пшеничной муки. Кто-то притащил сковороду, кто-то кастрюлю, каких-то жиров. Не помню, что принес я, может быть соли, другого я ничего не имел. Вишни были под боком, задачи не было, чтобы добыть их в нужном количестве. Замесили тесто, слепили блин размером в сковороду, сделали в нем углубление, положив туда наворованные вишни, и так его испекли на нашей плите. Мы предвкушали отвесть настоящего лакомства, однако тесто, приготовленное неумело, без употребления дрожжей, выпеклось твердым, невкусным. Но все равно мы ели свой пирог с немалым удовольствием.

От станции то и дело раздавались гудки воздушной тревоги, однако пролетающие самолеты не бомбили. Самолет кружил, видимо совершая разведку, зенитки поднимали яростную стрельбу, но всегда это было мимо. Зенитчики были исключительно молодые девушки.

Иногда тревога оказывалась ложной. А однажды она прозвучала в полдень. Город и станция мгновенно опустели. Взявшись за руки, мы с Жанной понеслись к матери на работу. Кругом уже не было ни души. Мы мчались по переходному мосту туда, где в случае бомбежки было бы самое опасное место, и думали только о том, чтобы в страшную минуту быть с матерью. Кто может защитить нас при крайних обстоятельствах? Мать – только она.

Контора находилась в самом центре станции, в нескольких шагах от путей, на которых стояли воинские эшелоны. Здесь все оставались на своих местах, спокойно работали. Нас с Жанной уже знали, нам улыбались, говорили что-то доброе. Мы еще не могли отдышаться. Мать журила нас за неразумный поступок.

В другой раз тревога прозвучала, когда я мылся в бане, которая также находилась возле путей, но и тогда обошлось без бомбежки, и помывщики не торопились спокойно помыться, одеться... А было еще: тревога зазвучала, тоже среди дня, в то время когда над городом пролетал на большой высоте самолет. Тревога, однако, была не воздушная, а пожарная, в чем мало кто разбирался. Загорелась мельница – большое деревянное сараеобразное сооружение старой постройки, горела страшно и яростно. Столпившийся народ уже не обращал внимания на пролетающий самолет.

Но вот однажды ночью я услышал над собой встревоженный голос матери:

– Вставай, скорей одевайся! – трясла она меня за плечо.

От станции неслись лихорадочно-тревожные гудки. В небе, видимо высоко, слышался ворчливо злой рокот самолетов. Через окно, глядевшее в сторону станции, было видно, как над ней медленно опускались осветительные бомбы. Они горели малиновым, ослепительным до белизны светом.

В комнате все торопились одеться. Мать одевала сонную Жанну. В семье наших земляков в эту ночь ночевал ее глава, железнодорожник.

– Вешает фонари – значит, будет бомбить, – как бы смакуя этот факт, выразительно, с расстановкой прокомментировал он происходившее за окном.

Внезапно все вокруг загрохотало, затряслась земля: бешеную стрельбу открыли зенитки. Гудки на станции сразу умолкли.

Высочив из дома, мы бросились к нашему окопчику: искать другое убежище было поздно. Я оказался первым, после меня втиснулась женщина с ребенком, потом мать с Жанной, потом еще человека три. Через широкую щель в перекрытии окопа я видел, как медленно опускались зловещие фонари, освещающая город и станцию кроваво-призрачным светом. Зенитки продолжали стрелять, снаряды рвались высоко. Оттуда шел монотонный рокот моторов.

После первой же бомбы, которые начали падать одна за другой, зенитки умолкли. Между разрывами возникала секундная тишина. Тогда казалось, что там, высоко, кто-то жестокий и страшный железной рукой раз за разом открывал некий люк, из которого с нарастающим воем к земле летела сама смерть. Ощущение было, что каждая бомба нацелена прямо на нас. Станция запылала сразу и вся, так сильно, будто горело само небо. После стало известно, что первым вспыхнул эшелон с прессованным сеном для лошадей.

В окопчике кто-то изредка ронял слово, а какой-то мужчина, хотя места в укрытии было достаточно, сидя снаружи, спокойным тоном, будто речь шла о чем-то обыденном, передавал свои наблюдения происходящего. Женщина возле меня успокаивала ребенка, который все всхлипывал: «Мамочка, мамочка...». Под меня потекла теплая жидкость...

Новый день начался тяжелым рассветом. Не было солнца, небо заволокло неподвижными тучами. Две или три бомбы упали у самого нашего дома. Взрывом вырвало вместе с болтами ставни, которыми были закрыты глядевшие на улицу окна, выбило стекла. В комнату залетели осколки, пропали какие-то вещи, с ними и моя путевка в лагерь. Мать запретила мне уходить со двора, но я не мог, я должен был увидеть, что произошло.

Улицы были пусты. Вид их под хмурым, насупившимся небом вызывал гнетущее чувство. Там и сям зияли огромные воронки. Возле одной из них, рядом с домом, который разворотила бомба, на чем-то вроде топчана лежало неподвижное тело, накрытое черным покрывалом, рядом не было никого.

Более всего пострадала станция. Сгорел вокзал. Взрывами сбросило и закрутило рельсы. От эшелонов остались остовы сгоревших вагонов. Бомба попала в вагон с хамсой, и ее разбросало по путям. Сгорела и школа, рухнул забор, окружавший ее, обгорели прекрасные тополя.

К полудню из города потянулась вереница людей, покидавших его: старики, женщины, дети с узлами, чемоданами на тележках или велосипедах, или которые несли на себе. Друг за другом, нескончаемой чередой, вызывая гнетущее чувство, шли они весь день.

После бомбежки ходили рассказы про разные случаи: о попадании в убежище, где было двадцать или тридцать человек, о чем-то чудесном спасении. Погибло будто бы несколько сотен мирных граждан. Говорили, что один самолет все-таки сбили. У себя во дворе и возле нашего окопа мы нашли много осколков, колючих и острых.

Налеты стали повторяться еженощно. Мы спали, не раздеваясь. Как только звучала тревога, теперь уже вместе со всеми бежали к лесу, до которого было не больше километра. Мать и я держали Жанну за руки. Самолет летел над самой головой, пулемет чеканил смертельное та-та-та-та..., и было отчетливо слышно, как совсем рядом, у самого уха свистят хищные крылья.

Через лес вслед за другими мы заходили на край пшеничного поля и оттуда смотрели в сторону станции и города. Здесь, среди колосьев, было спокойно и тихо. Ночи были теплые. Сидя на земле под звездным небом люди тихонько переговаривались. Самолеты кружили, вешали фонари, стреляли из пулеметов, но не бомбили.

Хотя путевка моя пропала, меня приняли в лагерь.

В каком-то доме с высоким крыльцом все прошли упрощенный врачебный осмотр. Потом все ограничилось тем, что нас просто кормили, иногда водили на прогулку, в лес. Каких-либо занятий с нами не помню, для этого не было ни помещений, ни условий.

После бомбежки у нас завелась забава. Почему-то обширный луг рядом с сажалкой оказался усеян зажигалками, многие из которых, вонзившись в землю, остались совершенно целы, некоторые обгорели частично.

В сажалке я нашел целую осветительную бомбу. Упакованная в плотную оберточную бумагу от удара о грунт, снизу она примялась, но часовой механизм с воспламенителем был цел и сиял новенькой латунью. Тоже в сажалке ребята нашли еще пару частично сгоревших фонарей с обугленным часовым механизмом.

Все это богатство мы притащили к нашему окопу и стали устраивать потеху. Кусок зажигалки или осветительной бомбы помещали в нашу плиту на лопате, там они начинали разжигаться и гореть. После этого расплав подбрасывали лопатой, потом ударяли ею, и он разлетался ослепительными брызгами, белыми или малиновыми, создавая зрелищный фейерверк. Однажды горящая капля упала на голову Михелю, после чего на этом месте у него образовалось пятно величиной с пятнадцать копеек, на котором уже не росли волосы. Я хотел вынуть из своего красивого часового механизма воспламенитель, но не сумел и кому-то потом отдал.

Время для мальчишек было веселое. В народе уже не было панического возбуждения сорок первого года. А вскоре началось большое наступление нашей армии, после чего налеты прекратились. Война покатила на запад. Жизнь, конечно, была еще скудна, но дни постоянной тревоги отступили.

Вместе с взрослыми мы ходили на разборку развалин, оставшихся после бомбежек. Работали киркой. Мелкие осколки кирпичей собирали в кучи, цельные кирпичи и крупные их куски складывали отдельно.

Но лучшее время проводили у сажалки: купались, валялись под солнцем на траве, играли. Сажалка была небольшое озерцо, поросшее по берегам осокой и камышами. Глубина была, наверное, метр, вода чистая, дно песчаное. Отсюда начинался и тот большой луг, который почему-то оказался усеян зажигалками. Мы говорили о войне, обсуждали последний фильм, рассказывали что-нибудь из того, что интересно мальчишкам. Любимым развлечением была игра в ножичек. Проигравшему забивали в землю колышек, который он должен был вытащить зубами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.